

АЖ. СЭЛИН АЖЕР

Джером Дэвид Сэлинджер
Дж. Д. Сэлинджер
Серия «Подарочные издания.
Коллекция классики»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=62789635

Дж. Д. Сэлинджер / Дж. Д. Сэлинджер : Эксмо; Москва; 2020

ISBN 978-5-04-110060-5

Аннотация

Читайте в одном томе: «Ловец на хлебном поле», «Девять рассказов», «Фрэнни и Зуи», «Потолок поднимайте, плотники. Симор. Вводный курс».

Приоткрыть тайну Сэлинджера, понять истинную причину его исчезновения в зените славы помогут его знаменитые произведения, вошедшие в книгу.

Содержание

Ловец на хлебном поле	4
Конец ознакомительного фрагмента.	242

Дж. Д. Сэлинджер

Дж. Д. Сэлинджер

Ловец на хлебном поле

Моей матери

1

Если по-честному охота слушать, для начала вам, наверно, подавай, где я родился и что за погань у меня творилась в детстве, чего предки делали и всяко-разно, пока не заимели меня, да прочую Дэвид-Копперфилдову¹ херню, только не в жилу мне про все это трюндеть, сказать вам правду. Во-пер-

¹ Дэвид Копперфилд – главный герой-рассказчик романа английского писателя Чарлза Диккенса (1812–1870) «Личная история, приключения, жизненный опыт и наблюдения Дэвида Копперфилда-младшего из Грачевника в Бландерстоне (ни в коем случае не предназначавшиеся для печати)» (1849–1850), который начинается с подробного изложения обстоятельств рождения героя: «Стану ли я героем повествования о своей собственной жизни, или это место займет кто-нибудь другой – должны показать последующие страницы. Начну рассказ о моей жизни с самого начала и скажу, что я родился в пятницу в двенадцать часов ночи (так мне сообщили, и я этому верю). Было отмечено, что мой первый крик совпал с первым ударом часов...» (пер. А. Кривцовой, Е. Ланна). – Здесь и далее прим. переводчика, кроме оговоренных особо.

вых, достало, во-вторых, предков бы по две кондрашки хватило, если б я стал про них чего-нибудь личное излагать. Они насчет такого чувствительные, особенно штрик. Не, они *нормальные* всяко-разно, я ничего не хочу сказать, но чувствительные, как не знаю что. А кроме того, так я вам и выложил всю автобиографию, ага. Я вам только про безумное расскажу, что со мной случилось на прошлое Рождество, перед тем как меня шарахнуло и пришлось отвалить сюда расслабляться. То есть это я и Д. Б. рассказывал, а он мне *брательник* всяко-разно. Живет в Голливуде. От этих своясей недалеко – считай, каждые выходные в гости ко мне приезжает. И домой меня отвезет, когда я, наверно, туда через месяц поеду. Он только что «ягуар» себе прикупил. Английская хрень такая, двести миль в час выжимает. Выкатил за него аж четыре штуки. У него теперь грóшей много. А *раньше* вот не было. Раньше он обычный писатель был, когда жил дома. Сочинил уматную книжку рассказов – «Тайная золотая рыбка» называется, если не слышали про него. Лучший рассказ там – эта «Золотая рыбка» и есть. Про пацана, который никому свою золотую рыбку не показывал, потому что он ее на свои деньги купил. Я чуть не сдох. А теперь он в Голливуде, Д. Б. то есть, – собой торгует. Кино это я просто ненавижу – как мало что. Про кино вы мне лучше и не заикайтесь.

Я вот откуда начну – с того дня, когда свалил из подготовки Пенси. Это такая школа в Эйджерстауне, Пенсильвания. Слыхали, наверно. Ну, рекламу точняк видали. Они

ее в тыще журналов ляпают – там еще всегда какой-нибудь ферт на лошади через забор прыгает. С понтом, в Пенси мы только в поло и играем. Я там даже в *окру́ге* ни одной лошади вообще не видал. А под фертом на лошади всегда написано: «С 1888 года мы лепим из мальчиков великолепных здравомыслящих юношей». Это для лохов. Ни шиша в Пенси не лепят, такая же школа, как другие. И никого великолепного или здравомыслящего я там тоже не встречал. Ну, может, парочку. И то много. Да и те, наверно, *до школы* такими были.

Короче, в ту субботу был футбол с Саксон-Холлом. В Пенси играть с Саксон-Холлом – всегда кипиш. Последний матч года, и если Пенси не выиграет, прям хоть в петлю. Помню, часа в три стою аж на самой вершине Томсен-хилла, возле этой долбанутой пушки, что в Американской революции бабахала всяко-разно. Оттуда стадион хорошо видать, и как обе команды по всему полю мясятся. Трибуны разглядишь не сильно, зато как орут – слышно, со стороны Пенси зашибись хай стоит, потому что туда вся школа, считай, вывалила, но без меня, а от Саксон-Холла – совсем сопливо и хило, потому что гости поля почти никого с собой вообще не привезли.

Девчонок на футболе почти не бывает. Подружек водить разрешается только старшим. В общем, жуткая школа, как ни посмотри. Мне-то в жилак, если хоть иногда девчонок видно, пускай они там чешутся, сморкаются, или хоть пускай хихикают, или еще как-то. Эта Селма Тёрмер – она дирек-

торская дочка – на футбол вполне себе часто ходила, только по таким, как она, сохнуть как-то не очень. Но ничего девка, путёвая. Я как-то с ней сидел в автобусе из Эйджерстауна, и мы чуток даже потрепались. Мне понравилась. Шнобель у нее дай боже, ногти все обкусанные, и кровь от заусенцев запеклась, а лифчик с подкладкой и топорщится во все стороны, но ее все равно как-то жалко. А мне в ней понравилось, что она не лепит тебе всякий навоз, мол, какой у нее штрик четкий. Наверно, сама знает, что он дутый халдей.

А на верхушке Томсена я стоял и на игру не пошел вот почему – я только что вернулся из Нью-Йорка с командой по фехтованию. Я, нафиг, заведовал фехтовальной командой. Не хрен собачий. Утром мы поехали в Нью-Йорк на турнир со школой Макбёрни. Только никакого турнира у нас не было. Я, нафиг, забыл все рапиры и прочее в метро. Но я тут не сильно крайний. Там же все время вставать надо было – на карту глядеть, чтоб не проехали. В общем, в Пенси мы вернулись где-то в полтретьего, а не к ужину. Бойкот такой от целой команды всю обратную дорогу в поезде. Даже смешно местами.

А еще футбол смотреть я не стал потому, что шел попрощаться с этим Спенсером, он у меня историю вел. Спенсер свалился с гриппом, и я прикинул, что, наверно, до рождественских каникул его не увижу. А он мне записку написал, дескать, хочет встретиться, пока я домой не уехал. Знал, что в Пенси я больше не вернусь.

Про это я забыл сказать. Меня вышибли. После каникул я и не должен был возвращаться, потому что провалил четыре предмета, не брался за ум и всяко-разно. Меня неоднократно предупреждали, чтоб я взялся за ум, особенно в середине семестра, когда предки являлись на беседу с этим Тёрмером, но я не брался. Вот и выперли. Из Пенси частенько вышибают. Там очень хорошая академическая успеваемость. Куда деваться.

В общем, декабрь и всяко-разно, колотун, как у ведьмы за пазухой, особенно на верхушке этого дурацкого холма. А на мне только двусторонняя куртейка и никаких ни перчаток, ничего. За неделю до этого у меня сперли верблюжье пальто прямо из комнаты, а в кармане были перчатки на меху и всяко-разно. В Пенси жуликов пруд пруди. Многие из таких богатеньких семей приезжают, а все равно жулья полно. Чем дороже школа, тем больше в ней жуликов, точно вам говорю. Ладно, стою рядом с долбанутой пушкой, гляжу вниз, где футбол идет, а жопа подмерзает. Только футбол я, в общем, не очень смотрел. Я чего там валандался – я, с понтом, хотел попрощаться. Ну то есть я и раньше сваливал – и из школ, и так, что даже не дорубал, сваливаю или нет. Терпеть не могу. Да наплевать, сопли там на прощанье или вопли, но, когда я сваливаю, мне надо *знать*, что я сваливаю. Иначе еще хуже.

Мне повезло. Я вдруг подумал такое, от чего мне сразу стало ясно, что меня, нафиг, тут больше нет. Вспомнил, как где-то в октябре мы с Робертом Тихнером и Полом Кэмблом

мячик пинали перед главным корпусом. Они путёвые парни, особенно Тихнер. Время как раз к ужину, почти стемнело, а мы всё пинаем. А темнеет, мяча нам уже почти и не *видно*, только бросать не хочется. Но пришлось. Из окна главного корпуса этот биолог высунулся, мистер Замбези, и велел нам в общагу двигать, готовиться на ужин. Вот когда у меня получается такую хренотень вспомнить, прощание выходит, если надо, – считай, почти всегда. И как только получилось, я развернулся и дернул вниз по другому склону, к дому этого Спенсера. Он жил не на территории. На авеню Энтони Уэйна².

Я добежал аж до главных ворот, а там притормозил на секундочку, дух перевести. Дыхалка у меня слабая, если по-честному. С одной стороны, я дымлю как паровоз – то есть дымил. Заставили бросить. А с другой, за последний год я *вырос* на шесть с половиной дюймов. Потому и ТБ, считай, подхватил, и сюда приперся – все эти анализы сдавать и прочую херню. Но вообще-то я здоровый.

Ладно, я отдышался и рванул через Трассу 204. А она вся обледенела, как не знаю что, и я там чуть не грохнулся. Фиг вообще знает, зачем бежал – наверно, просто хотелось. А за дорогой вдруг понял, что как бы исчезаю. День вообще долбанутый, неслабая холодрыга, никакого ни солнца, ничего, и

² Энтони Уэйн (1745–1796) – американский генерал, прославился во время Войны за независимость и в конфликтах с индейцами, за храбрость получил прозвище «Бешеный Энтони».

как дорогу перейдешь – такое чувство, будто исчез.

В общем, ух как я жал на звонок, когда до этого Спенсера добрался. Весь заледенел. Уши болят, а пальцы почти и не шевелятся.

– Давай, давай, – говорю вслух; ну, почти, – открой же мне кто-нибудь *дверь*.

Наконец эта миссис Спенсер открыла. У них ни горничной не было, никак, двери они всегда сами открывали. Грошей у них немного.

– Холден! – говорит миссис Спенсер. – Как приятно тебя видеть! Заходи же, дорогой мой! Ты до смерти замерз?

Наверно, она мне обрадовалась. Я ей нравился. Или мне так кажется.

Ух как я рванул внутрь.

– Вы как, миссис Спенсер? – спрашиваю. – Как мистер Спенсер?

– Давай мне куртку, дорогой мой, – отвечает она. Не слышала, как я про мистера Спенсера спросил. Она как бы глуховата.

Повесила мою куртку в платяной шкаф, а я, с понтом, волосы пятерней себе пригладил. Я часто стригусь под ежик, причесывать там особо нечего.

– Как у вас дела, миссис Спенсер? – снова говорю я, только громче, чтоб слышала.

– Дела превосходно, Холден. – Она закрыла дверцу шкафа. – А как у *тебя*? – И по тому, как она это спросила, я

понял: этот Спенсер ей рассказал, что меня выперли.

– Отлично, – говорю. – Как мистер Спенсер? Ододел уже свой грипп?

– Ододел! Холден, да он ведет себя, как совершенный... Я даже не знаю, *что*... Он у себя, дорогой мой. Ступай прямо к нему.

2

У них у каждого по своей комнате всяко-разно. Им обоим где-то под семьдесят, а то и за. Но им в жизни много чего зашибись – хоть у них и выходит как-то несуразно. Я знаю, погано так говорить, но я не хотел погано. Я в смысле, что об этом Спенсере нормально так много думал, а если думать о нем *слишком* много, непонятно, за каким хреном он вообще живет на свете. Ну то есть: весь скрюченный, осанки никакой, и если на уроке роняет мел у доски, кому-нибудь из первого ряда приходится вставать и ему поднимать. Жуть, по-моему. Но если думать о нем не *слишком*, а просто, выходит, что ему, в общем, в жилу. Например, как-то в воскресенье мы с парнями заходили к ним на горячий шоколад, он нам показал старое индейское одеяло, все тертое – они с миссис Спенсер купили его у какого-то навахо в Йеллоустонском парке. И по всему видать: этому Спенсеру покупать одеяло было зашибись. Я вот как раз о чем. Такое старичье, как Спенсер, – и ему зашибись покупать одеяло.

Дверь к нему была открыта, но я как бы все равно посту-
чал – из вежливости и всяко-разно. Я видел, где он сидит.
Сидел он в большом кожаном кресле, весь завернутый в это
самое одеяло. Поднял голову, когда я постучал.

– Кто там? – орет. – Колфилд? Заходи, мальчик мой.

Если не на уроке, он всегда орет. Иногда действует на нер-
вы.

Едва я вошел, так сразу и пожалел, что вообще припер-
ся. Он читал «Атлантик Мансли», везде валяются пилули и
лекарства, и все воняет «Виксом» – каплями в нос. Вполне
себе тоска. Мне больные вообще не очень в струю. А еще
тоскливей от того, что этот Спенсер сидел в халате, таком
убогом и обтерханном, будто родился прямо в нем или как-
то. Не сильно-то и в жилу смотреть на старичье в пижамах
и халатах. Эти груди вечно трясутся. И ноги. У старичья на
пляже и везде ноги всегда такие белые и лысые.

– Здравсьте, сэр, – говорю. – Я получил вашу записку.
Большое спасибо. – Он же написал мне, чтоб я зашел попро-
шаться до каникул, раз я больше не вернусь. – Не надо было,
чего вы? Я бы все равно зашел.

– Садись сюда, мальчик мой, – говорит этот Спенсер. В
смысле – на кровать.

Я сел.

– Как ваш грипп, сэр?

– Мальчик мой, да будь мне лучше, врача вызывать на-
до было б. – Тут он развеселился. Закудахтал как ненормаль-

ный. Потом наконец взял себя в руки и говорит: – А почему ты не на стадионе? Мне казалось, сегодня главный матч.

– Ну да. Я там был. Только я из Нью-Йорка только что приехал с фехтовальной командой, – говорю. Ух у него кровать – как камень.

Тут он стал серьезный, как не знаю что. Я так и думал.

– Так ты, значит, нас покидаешь? – говорит.

– Да, сэр. Наверно.

Он давай себе кивать. Так никто никогда столько не кивает, как этот Спенсер. И никогда не знаешь, он столько кивает оттого, что всяко-разно думает, или просто потому, что путёвый такой дед, который жопу от локтя не отличит.

– И что тебе сказал доктор Тёрмер, мальчик мой? Я так понимаю, у вас с ним была беседа.

– Была. Еще какая. Часа два, наверно, у него в кабинете.

– И что он тебе сказал?

– Ой... ну, что Жизнь – игра и всяко-разно. И как играть в нее надо по правилам. Не, он нормально так излагал. Ни завожился, ничего. Только трындец, что Жизнь – игра, всяко-разно. Ну, в общем.

– Жизнь и *есть* игра, мальчик мой. Жизнь и *есть* игра, в которую играют по правилам.

– Да, сэр. Это я знаю. Знаю.

Хрен там игра. Аж два раза. Если ты на той стороне, где всякие ферты, тогда, конечно, игра – тут уж куда деваться. А если на *другую* сторону попадешь, где нет никаких фертов,

так в чем же тут игра? Ни в чем. Никакой игры.

– Доктор Тёрмер уже написал твоим родителям? – спрашивает этот Спенсер.

– Сказал, в понедельник напишет.

– А ты сам им сообщал?

– Нет, сэр, ничего я им не сообщал, потому что в среду вечером я уже домой приеду и, наверно, их увижу.

– И как, ты считаешь, они воспримут это известие?

– Ну... наверно, вполне себе разозлятся, – говорю. – Да еще как. Это ж у меня где-то четвертая школа. – Я покачал головой. Ею я неслабо много качаю. – Ух! – говорю. «Ух» я тоже неслабо много говорю. С одной стороны, у меня паршивый словарный запас, а с другой – потому, что иногда я веду себя слишком молодо для своих лет. Тогда мне было шестнадцать, теперь семнадцать, а веду я иногда себя так, будто мне тринадцать. Это вообще-то умора, потому что во мне шесть футов и два с половиной дюйма, и я уже сидеть начал. По-честному. На голове у меня с одной стороны – справа – просто миллион седых волос. У меня они с тех пор, как я совсем мелкий был. Но я все равно иногда себя веду так, словно мне лет двенадцать. Это все говорят, особенно мой штрик. С одной стороны, так и есть, только не *совсем*. Часто думают, будто что-то *совсем* бывает. Мне надристать, вот только достает иногда, если мне говорят, чтоб вел себя как полагается. Иногда я веду себя старше, по-честному, только этого не замечают. Люди никогда ни шиша не замечают.

Этот Спенсер снова давай кивать. И в носу ковыряться. Сделал вид, будто пощипывает, а сам большой палец засунул. Наверно, решил, что можно, раз в комнате только я. Да мне *наплевать*, только смотреть, как кто-нибудь в носу ковыряется, будь здоров отвратительно.

Потом говорит:

– Мне выпала честь познакомиться с твоими матерью и папой, когда они пару недель назад приезжали на беседу с доктором Тёрмером. Они славные люди.

– Да, ничего. Нормальные такие.

Славные. Вот еще какое слово я по-честному ненавижу. Фуфло. Как услышу, блевать тянет.

Тут вдруг этот Спенсер сел с таким видом, будто ему есть мне что сказать – очень хорошего, очень острого, как кнопка. Выпрямился в кресле и, с понтом, поерзал. Но – ложная тревога. Он только «Атлантик Мансли» с колен убрал и попробовал кинуть на кровать, рядом со мной. Но не докинул. До кровати пара дюймов, а все равно промазал. Я встал, подобрал и положил на кровать. И вдруг мне захотелось нафиг оттуда свалить. Я уже чувствовал – светит неслабая нотация. Оно бы, может, и ничего, да только мне совсем не в жилу слушать нотацию, нюхать закапку в нос, смотреть на этого Спенсера в пижаме и халате – и все одновременно. Как-то перебор.

Ну и началось, в общем.

– Что с тобой такое, мальчик мой? – говорит этот Спен-

сер. Вполне себе жестко так говорит – обычно он так не разговаривает. – Ты сколько предметов сдавал в этом семестре?

– Пять, сэр.

– Пять. А сколько завалил?

– Четыре. – Я немножко поерзал жопой на кровати. На таких твердых мне сидеть еще не доводилось. – Английский я сдал нормально, – говорю, – потому что всяких «Беовульфов» и «Лорд Рэндэл, мой сын»³ мы в Вутоне проходили. Ну, то есть по английскому почти ничего делать и не надо было, только сочинения писать время от времени.

Он меня даже не слушал. Он вообще почти не слушает, когда ему что-то говоришь.

– Я провалил тебя по истории, потому что ты совсем ничего не знаешь.

– Я знаю, сэр. Ух как я знаю. Вы тут ни при чем.

– Совсем ничего, – повторяет он. От такого рехнуться можно. Когда вот так повторяют что-нибудь, в чем ты уже *признался*. А он – и в *третий* раз: – Совершенно ничего. Сомневаюсь, что ты хоть раз за семестр учебник открывал. Открывал? Скажи честно, мальчик мой.

– Ну, вроде как пару раз проглядывал, – отвечаю. Мне его жалко стало. Совсем спятил на своей истории.

– Проглядывал, значит, а? – говорит он, очень так язви-

³ «Беовульф» – древний англосаксонский народно-героический эпос VII–VIII вв., дошел в рукописи X в., повествует о подвигах скандинавских героев VI в. «Лорд Рэндэл» – старинная шотландская баллада, записана на рубеже XVIII–XIX вв. Пер. И. Ивановского.

тельно. – Твоя... э-э, экзаменационная работа лежит вон там, у меня на шифоньерке. Сверху стопки. Принеси ее мне, будь добр.

Очень грязный трюк, но я сходил и принес – ни выбора не было, ничего. И снова сел на его цементную кровать. Ух, вы и представить себе не можете, как я жалел уже, что вообще к нему зашел.

Он держал мою работу, словно какашку или как-то.

– Древний Египет мы проходили с 4 ноября по 2 декабря, – говорит. – Ты *сам* выбрал его для экзаменационного сочинения на вольную тему. Хочешь послушать, что ты имел о нем сказать?

– Нет, сэр, не очень, – отвечаю.

Но он все равно прочитал. Учителя же не остановишь, если ему чего в голову взбредет. *Прет*, и все.

Египтяне были древней нацией белых людей, которые жили в одной из северных частей Африки. Последняя, как всем нам известно, – крупнейший континент Восточного полушария.

Пришлось сидеть и *слушать* всю эту херню. Грязный трюк, точно вам говорю.

Нам сегодня египтяне очень интересны по разным причинам. Современной науке по-прежнему хочется знать, какие тайные компоненты египтяне подмешивали, когда заворачивали покойников так, чтобы лица у них не гнили бесчисленные века.

Эта интересная загадка по-прежнему ставит в тупик современную науку в двадцатом веке.

Он умолк и отложил мою работу. Я уже начал его вроде как ненавидеть.

– Твое, скажем так, сочинение на этом заканчивается, – говорит он тоже очень язвительно. И не ожидаешь, что такой дедан окажется всяко-разно язвой. – Однако ты внизу страницы приписал мне маленькое послание.

– Я помню, – говорю. Сказал быстро, чтоб он не успел прочесть вслух и *это*. Но его ж не остановишь. Запустился, что твой фейерверк.

Уважаемый мистер Спенсер [вслух прочел он]. Про египтян я больше ничего не знаю. По-моему, они меня не очень интересуют, хотя уроки у Вас очень увлекательные. Но я не против, чтобы Вы меня провалили, потому что я вообще все остальное заваливаю, кроме английского. С уважением, Ваш *Холден Колфилд*.

Он опустил мою, нафиг, работу и посмотрел на меня так, словно только что раздраконил меня в пинг-понг всяко-разно. Я его, наверно, никогда не прощу, что он прочел эту херню вслух. Если б *он* ее написал, я бы не стал *ему* читать, почестному. Я вообще эту хренову записку ему написал, чтоб он не мучился, когда меня провалит.

– Мальчик мой, ты коришь меня за то, что я тебя провалил? – спрашивает он.

– Нет, сэр! Конечно, нет, – говорю. Хоть бы он перестал, нафиг, звать меня «мальчик мой» все время.

Закончив, он попробовал метнуть мою работу на кровать. Только опять, само собой, промазал. Мне снова пришлось вставать, подбирать ее и класть на «Атлантик Мансли». Достает *ужас*, когда надо это делать каждые две минуты.

– Как бы ты поступил на моем месте? – спрашивает он. – Скажи мне честно, мальчик мой?

Ну чего, видно же: ему вполне себе паршиво от того, что меня провалил. Поэтому я немного туфты ему погонял. Сказал, что я настоящая дубина, и всякую такую хреноту. Что на его месте я поступил бы точно так же, а большинству и невдомек, как трудно быть учителем. Такую вот фигню. Туфта проверенная.

Но вот умора – пока ему гонял все это, думал я вроде как о чем-то совсем другом. Живу я в Нью-Йорке, и думал я о пруде в Центральном парке, возле Южной Сентрал-Парк. Интересно, замерзнет он, когда я домой приеду, и если да, куда денутся утки? Интересно, куда вообще утки деваются, когда пруд весь перемерзает. Может, приезжает кто-нибудь на грузовике и забирает их в зоосад или как-то. А может, просто улетают.

Но мне везет. То есть я могу этому Спенсеру гонять туфту и в то же время думать про уток. Умора. Когда с учителем говоришь, напрягаться и думать, в общем, не надо. И вдруг – гоню я, а он меня перебивает. Он же всегда перебивает.

– А тебе-то *каково*, мальчик мой? Вот что мне очень интересно знать. Очень интересно.

– В смысле – насчет выпуля из Пенси и всяко-разно? – говорю. Хоть бы он грудь эту свою вислую прикрыл. Не очень красивое зрелище.

– Если не ошибаюсь, у тебя были какие-то трудности и в Вутоне, и в Элктон-Хиллз. – Он это не просто язвительно сказал, а еще и как-то погано.

– В Элктон-Хиллз у меня особых трудностей не было, – говорю я. – Я там не провалил ничего, никак. Я вроде как бросил, сам.

– Почему, могу я спросить?

– Почему? Ой, это долгая история, сэр. То есть ничего себе запутанная такая. – Не пускаться же мне с ним во все это, еще чего. Он бы все равно ни шиша не понял. Да и вообще не его это дело. Главная причина, почему я свалил из Элктон-Хиллз: меня там окружало сплошь фуфло. Вот и все. Из всех щелей оно там, нафиг, лезло. Взять директора, мистера Хааса, – фуфловее гада я в жизни не встречал. В десять раз хуже этого Тёрмера. По воскресеньям, к примеру, этот Хаас расхаживал и жал руки всем штрикам, что в школу приезжали. Само обаяние, как я не знаю что, куда деваться. Если только у какого-нибудь пацана эти штрики не с каким-нибудь прибабахом. Вы б видели, как он с предками моего соседа по комнате обошелся. В смысле, если у пацана штруня какая-нибудь толстая, или на вид фофанская, или еще как-

то, а штрик такие костюмы носит со здоровыми плечами и фофанские черно-белые ботинки, этот Хаас только руку им жал да улыбался фуфлово, а потом шел и, может, полчаса трындел с чьими-нибудь другими предками. Я такую хреновенькую терпеть не могу. Хоть на стену лезь. Меня так пришибает, что я как с цепи срываюсь. Я Элктон-Хиллз, нафиг, ненавидел.

Этот Спенсер у меня еще чего-то спросил, но я не расслышал. Думал про этого Хааса.

– Чего, сэр? – говорю.

– Тебя что-нибудь *тревожит* от того, что ты уходишь из Пенси?

– Ой, ну кое-что тревожит, да. Конечно... только не слишком много. Пока, во всяком случае. Наверно, еще не осознал. Я вообще осознаю все через некоторое время. Я сейчас думаю про то, как в среду поеду домой. Я дубина.

– Мальчик мой, тебя совершенно не заботит твое будущее?

– Ой, ну конечно, мое будущее меня немножко заботит. Еще бы. Ну да, конечно. – Я целую минуту об этом думал. – Но, наверно, не слишком. Наверно, не слишком.

– А оно тебя *озаботит*, – говорит этот Спенсер. – Непременно, мальчик мой. Но тогда будет слишком поздно.

Фигово он это сказал. Точно я сдох или как-то. Очень тоскливо.

– Наверно, да, – говорю.

– Мне хотелось бы вправить тебе мозги, мальчик мой. Я пытаюсь тебе помочь. Я пытаюсь *помочь* тебе, если это в моих силах.

И впрямь пытается. Это видно. Мы с ним просто слишком по разные концы дышла, вот и все.

– Я знаю, сэр, – говорю я. – Большое спасибо. Кроме шуток. Я вам благодарен. По-честному. – Тут я встал с кровати. Ну хоть убейте меня, а я б там и десяти минут больше не высидел. – Только штука в том, что мне уже пора. У меня куча всего в спортзале осталась, а мне это домой везти. Честно надо.

Он на меня поглядел и снова давай себе кивать, а лицо серьезное такое. Мне его жалко стало, как я не знаю что, – ни с того ни с сего. Но не могу ж я тут зависнуть, раз мы с ним по разные концы дышла, и он недобрасывает до кровати, если что-нибудь на нее кидает, и у него тоскливый халат, из которого грудь выглядывает, и гриппозная эта вонь от за-капки в нос повсюду.

– Сэр, послушайте. Вы за меня не бойтесь, – говорю. – Я не шучу. Все будет отлично. Просто у меня сейчас период такой. У всех периоды бывают всяко-разно, правда?

– Не знаю, мальчик мой. Не знаю.

Терпеть не могу, когда так отвечают.

– Да точно. Точно бывает, – говорю. – Я не шучу, сэр. Не волнуйтесь за меня, пожалуйста. – И я как бы положил руку ему на плечо. – Ладно? – говорю.

– Не выпьешь горячего шоколаду перед уходом? Миссис Спенсер бы...

– Я б выпил, по-честному, но штука в том, что мне пора. Надо в спортзал бежать. Но спасибо. Большое спасибо, сэр.

И мы пожали друг другу руки. Такая вот херня. Но мне тоскливо стало, как я не знаю что.

– Я вам черкну, сэр. А вы разберитесь со своим гриппом.

– До свидания, мальчик мой.

Я как закрыл дверь, так и пошел сразу обратно в гостиную, а он еще заорал мне что-то, но я не очень расслышал. Наверняка что-нибудь вроде «Удачи!». Только надеюсь, что нет. Только, нафиг, не это. Я б никогда никому не орал «Удачи!». Жутко звучит, если вдуматься.

3

Я очень неслабо вру, вы такого в жизни не видели. Жуть. Если даже иду за журналом в магаз и кто-нибудь спросит, куда я намылился, я скорее всего отвечу, что иду в оперу. Страшное дело. Поэтому когда я сказал этому Спенсеру, что мне надо в спортзал за делами и всяко-разно, то были чистые враки. Не держу я ничего в спортзале.

В Пенси я жил в новой общежитии, в крыле имени Оссенбергера. Там селят только младших и старших. Я был младшим. А в комнате со мной жил старший. Крыло называли в честь этого Оссенбергера, который учился в Пенси. Доучившись,

он сделал кучу грошей на похоронах. По всей стране наоткрывал бюро – там членов семьи можно было хоронить по пятерке за штуку. Вы б видели этого Оссенбергера. Он их, наверно, совал в мешок и в реку вываливал. Короче, Пен-си он отслюнил кучу грошей, и в честь него назвали это наше крыло. На первый футбольный матч года он приехал в таком здоровенном, нафиг, «кадиллаке», а мы все на трибуне должны были встать и дать ему «паровозика» – это приветствие такое. На следующее утро в капелле он выдал нам речь – длиной в десять часов. Начал с полусотни фофанских анекдотов, только чтоб показать, какой он уматный парень. Что надо кипиш. Потом стал рассказывать, что, если у него неприятности или как-то, ему никогда не бывает стыдно пасть на коленки и помолиться Богу. И нам говорит, чтоб всегда молились Богу – беседовали с Ним и всяко-разно, – где бы мы ни были. Говорит, считайте Иисуса, всяко-разно, своим корефаном. Говорит, *он* все время с Христом разговаривает. Даже когда за рулем. Я чуть не сдох. Так и вижу: здоровенный фуфловый гад переключается на первую и просит Боженьку послать ему еще несколько жмуриков. Одна только хорошая фигня у него в середине речи была. Он нам рассказывал, какой он шикарный типус, какой ферт и всяко-разно, и тут этот парень, что сидел передо мной, Эдгар Марсалла, взял и так неслабо перднул. Очень дубово получилось – все-таки капелла и всяко-разно, но все равно хоть стой, хоть падай. Марсалла этот. Чуть, нафиг, крышу с капеллы не снес-

ло. Почти никто вслух не засмеялся, а этот Оссенбергер сделал вид, что даже не услышал, только этот Тёрмер, директор наш, рядом сидел за кафедрой и всяко-разно, – вот *он* точно все услышал, видно было. Ух как он рассвирепел. В тот раз ничего не сказал, а на следующий вечер собрал всех в аудиторию в главном корпусе, вышел вперед и толкнул речугу. Сказал, что мальчик, вызвавший нарушение порядка в капелле, недостоин учиться в Пенси. Мы хотели заставить этого Марсаллу выдать еще разок, прям пока Тёрмер триндит, да он был не в настроении. Ну, в общем, тут я и жил в Пенси. В крыле имени этого Оссенбергера, в новой общаге.

Когда я вернулся в комнату после этого Спенсера, там было путёво, потому что все еще были на стадионе, а внутри для разнообразия включили тепло. Даже как-то уютно. Я снял куртку и галстук, расстегнул воротничок, а потом надел кепарь, который утром купил в Нью-Йорке. Такой красный охотничий, с сильно длинным козырьком. Я кепарь этот увидел в витрине спортивного магазина, когда мы из метро вышли, – сразу после того, как понял, что забыл, нафиг, все рапиры. Всего зеленый стоил. Я его вот как надел: козырек этот сдвинул на самый затылок – очень фофански, куда деваться, но мне так в жилу. Я зашибись так выглядел. Потом взял книжку, которую читал, и сел в кресло. В каждой комнате их стояло по два. У меня одно и у моего соседа Уорда Стрэдлейтера одно. Ручки у них уже свое доживали, потому что на них всегда кто-нибудь садился, но кресла все равно

были вполне удобные такие.

А читал я книжку, которую взял в библиотеке по ошибке. Мне дали не ту книжку, а я не заметил, пока к себе не вернулся. Мне дали «Из Африки» Исака Динесена⁴. Думал, дрянь, а вот нет. Очень хорошая книжка. Я нормально так безграмотный, но читаю много. Мой любимый автор – братеньник мой Д. Б., а за ним идет Ринг Ларднер⁵. Мне Ринга Ларднера на деньрож братеньник подарил, перед тем как я в Пенси уехал. Там такие забавные долбанутые пьески, а один рассказ – про дорожного фараона, он еще сохнет по этой девке, которая все время скорость превышает. Только фараон женат, поэтому жениться на ней все равно не может никак. А девка потом убивается, потому что все время превышает скорость. Я от этого рассказа чуть не сдох. Мне в книжках вообще нравится, если там хоть иногда бывает смешно. Классики я тоже кучу целую читал, вроде «Возвращения на родину»⁶ и всяко-разно, и мне нравится, а еще кучу книжек про войну и детективов, но мне они не сильно в жилу. Мне такие книжки в жилу, какие всю прочтешь – и жалеешь, что

⁴ Исаак (Айзек) Динесен – псевдоним датской писательницы баронессы Карен фон Бликсен-Финеке (1885–1962). «Из Африки» – ее автобиографический роман (1937).

⁵ Рингголд Уилмер Ларднер (1885–1933) – американский спортивный обозреватель и писатель-сатирик. Ниже упоминается его рассказ «Бывают такие улыбки» (There are Smiles, 1957).

⁶ «Возвращение на родину» (1878) – роман английского писателя Томаса Харди (1840–1928).

автор тебе не дружанб неслабый и ему нельзя позвонить, когда захочется. Но такое нечасто бывает. Хотя этой Исаку Динесену я бы позвонил. И Рингу Ларднеру – только Д. Б. говорит, он уже умер. А взять, скажем, «Бремя страстей человеческих» Сомерсета Моэма⁷. Я ее прошлым летом читал. Будь здоров книжка и всяко-разно, но вот Сомерсету Моэму звонить как-то не в струю. Не такой он парень, чтоб ему звонить, только и всего. Я б лучше Томасу Харди позвонил. Путёвая у него эта Юстасия Вай.

В общем, нацепил я свой новый кепарь и сел читать эту книжку «Из Африки». Я ее уже читал, но какие-то части хотел еще раз. Только успел страницы три и тут слышу, через шторы ванной кто-то идет. Даже не глядя, сразу понял кто. Роберт Экли, этот парень, что живет рядом. В нашем крыле между каждой парой комнат есть душ, и по восемьдесят пять раз на дню этот Экли ко мне врывается. Он, наверно, один во всей общаге, кроме меня, на футбол не пошел. Он, считай, вообще никуда не ходит. С прибабахом парень. Он старший, в Пенси уже четыре года и всяко-разно, но его все только «Экли» и зовут. Даже Херб Гэйл, сосед его по комнате, никогда не зовет его «Боб» – и даже «Эк» не зовет. Если он когда-нибудь женится, наверно, и жена будет звать его «Экли». Он такой дылда, плечи покатые – росту в нем где-то шесть и четыре, – и с паршивыми зубами. Все время, пока

⁷ Уильям Сомерсет Моэм (1874–1965) – английский писатель. Его роман «Бремя страстей человеческих» опубликован в 1915 г.

он рядом жил, я ни разу не видел, чтоб он их чистил. Они у него вечно как мхом поросли, жуть, в общем, и на него глянешь, нафиг, в столовой – сразу блевать тянет: пасть набита пюре с горошком или еще как-то. А кроме того, он прыщавый. Не только на лбу и подбородке, как у многих парней, а по всей роже. Мало того – у него еще и характер жуткий. Мерзкий, в общем, парняга. Мне он, сказать вам правду, не очень в жилу.

Я чувствовал, как он стоит на порожке душа прямо за моим креслом – заглядывает, дома ли Стрэдлейтер. Стрэдлейтера он терпеть не может и в комнату никогда не заходит, если тот дома. Он, нафиг, вообще никого терпеть не может.

Вот он соспустил с порожка и вошел в комнату.

– Здорóво, – говорит. Он это всегда говорит так, точно ему неслабо скучно или он неслабо устал. Не дай боже подумаешь, будто он к тебе в гости зашел или как-то. Уж лучше пускай думают, что он заглянул по ошибке, ёксель-моксель.

– Здорово, – говорю, но от книжки даже не оторвался. С таким, как Экли, от книжки оторвешься – и капец. Тебе полюбому капец, но хоть не так быстро.

Он давай по комнате мотыляться – очень медленно и всяко-разно, он вечно так делает, берет вещи со стола и шифоньерки. Всегда берет твои вещи и ну разглядывать. Ух как он иногда на нервы действует.

– Как сражнулись? – спрашивает. Ему просто хотелось, чтоб я бросил читать, раз видит, что мне зашибись. На фех-

тование ему надристать. — Мы выиграли или как?

— Никто не выиграл, — говорю я. Но не отрываясь от книжки.

— Чего? — говорит. Он вечно заставляет повторять ему все дважды.

— Никто не выиграл, — говорю. А сам косяка даванул, как он у меня по шифоньерке шарится. Он как раз пялился на фотку той девчонки, с которой я в Нью-Йорке ходил, Сэлли Хейз. Как я фотку, нафиг, себе завел, он ее, наверно, уже пять тыщ раз брал и пялился. И, закончив, всегда не туда ставил. Это он спецом. Точняк.

— *Никто* не выиграл? — говорит. — Это как?

— Я, нафиг, рапиры и все дела в метро забыл. — Я на него по-прежнему не смотрел.

— В метро, елки-палки! Ты их *потерял* то есть?

— Мы сели не в то метро. Надо было вставать все время, по карте, нафиг, смотреть на стенке.

Он подошел и загородил мне весь свет.

— Эй, — говорю, — ты пришел, и я одну фразу уже двадцать раз читаю.

Любой, кроме Экли, намек бы понял. А он — дулю там.

— И чего, тебя за них платить заставят? — говорит.

— Фиг знает, да и надристать. Сынок, ты бы *сел* или как-то, что ли? Ты мне, нафиг, свет загораживаешь. — Ему не нравится, если его зовут «сынком». Он мне всегда трындел, что сынок тут, нафиг, я, потому что мне шестнадцать, а ему

восемнадцать. Он просто с цепи срывался, когда я звал его «сынком».

Он не сдвинулся. Вот *точно* такие и не отходят от света, когда попросишь. Он, конечно, *отойдет*, но не сразу, не когда *просишь*.

– Ты чего это читаешь? – говорит.

– Книжку, нафиг.

Он ее пихнул, чтоб посмотреть название.

– Хорошая? – спрашивает.

– Та *фраза*, которую я читаю, – просто зашибись. – Я тоже бываю язва будь здоров, когда стих найдет. Только он ни шиша не понял. Опять начал по комнате шибаться, вещи брать – и мои, и Стрэдлейтера. Наконец я книгу на пол отложил. С такими, как Экли, ни фи́га не считаешь. Невозможно.

Я по креслу вниз немножко сполз и гляжу, как Экли у меня устраивается. Я вроде как утомился от поездки в Нью-Йорк и всяко-разно, зевать начал. Потом стал немножко валять дурака. Иногда я нормально так валяю дурака – ну, чтоб ничего не доставало. Я вот чего – я передвинул этот козырек у кепаря вперед и натянул на самые глаза. Так мне, нафиг, ни шиша видно не стало.

– По-моему, я слепну, – говорю так сипло-сипло. – Миленькая мамочка, здесь все так *темно*.

– Во чеканутый. Ей-богу, – говорит Экли.

– Миленькая мамочка, дай *руку*. Ну что, тебе *руку* трудно дать?

– Елки-палки, дитя малое.

Я начал шариться перед собой, будто ослеп, только ни вставал, ничего. И талдычу:

– Миленькая мамочка, ну что, тебе *руку* мне трудно дать?

Само собой, я просто дурака валял. Мне такое иногда зашибись. А потом – этого Экли такое достает, как я не знаю что. От него во мне всегда садист такой просыпается. Я его вполне себе часто садирую. Но тут я в конце концов бросил. Сдвинул козырек опять на затылок и расслабился.

– Это чье? – спрашивает Экли. И показывает мне наколенник соседа. Этот тип *любую* хрень подбирает. Даже бандаж или как-то. Я сказал, что Стрэдлейтера. И Экли кинул его на кровать Стрэдлейтеру. Взял с его *шифоньерки*, поэтому кинул на *кровать*.

Затем подошел и сел на ручку Стрэдлейтерова кресла. В *само* кресло он никогда не садится. Только на ручку.

– Ты где эту хрень надыбал? – И на кепарь показывает.

– В Нью-Йорке.

– Сколько?

– Зеленый.

– Грабеж. – Тут он спичкой ногти начал себе чистить. Экли все время ногти чистит. Даже как-то умат. Зубы у него словно мхом поросли, уши грязные, как не знаю что, а вот ногти он всегда чистит. Наверно, считает, что от этого будет *четким* парнем. И за чисткой еще раз поглядел на мой кепарь. – Елки-палки, да мы в таких дома стрелять оленей хо-

дим, – говорит. – В такой только оленей стреляют.

– Фиг там. – Я снял кепарь и посмотрел. И как бы глаз прижмурил, будто целюсь. – В таком стреляют людей, – говорю. – Я в этом кепаре людей стреляю.

– А предки знают, что тебя выперли?

– Не-а.

– А где вообще этот Стрэдлейтер шляется?

– На стадионе. У него свиданка. – Я зевнул. Зевал я прям на всю комнату. Во-первых, потому, что, нафиг, жара. А от нее спать хочется. В Пенси либо дубак смертельный, либодохнешь от жары.

– Уматный Стрэдлейтер, – говорит Экли. – ... Слышь. А дай-ка мне ножницы на секундочку, есть? Где-нибудь под рукой?

– Нету. Я уже все сложил. В шкафу наверху.

– Ну достань на секундочку, чего ты? – говорит Экли. – Мне тут заусенец отрезать надо.

Ему наплевать, сложил ты уже что-то или нет, и лежит ли оно у тебя в шкафу на самом верху. Но я ему ножницы достал. Чуть не сдох к тому же, доставая. Только открыл дверцу шкафа, как мне на голову свалилась Стрэдлейтерова теннисная ракетка – вместе с деревянным зажимом и всяко-разно. Тюкнула громко, и больно было, как я не знаю что. Этот Экли чуть не сдох. Заржал этим своим пронзительным фальцетом. И ржал всю дорогу, пока я стаскивал вниз чемодан и доставал ему ножницы. Такая вот фигня – парня по башке

камень шарашит или как-то – Экли веселила до уссачки.

– У тебя, нафиг, отличное чувство юмора, сынок, – говорю я. – Тебе это известно? – И ножницы ему такой. – Давай я буду твоим импресарио. Я тебя, нафиг, на радио протащу. – И я снова сел в кресло, а он давай себе эти неслабые ногти стричь, на копыта похожие. – Может, над столом хоть, а? – говорю. – Над столом давай стриги. Не в жилик тут по твоим захезанным ногтям босиком вечером ходить.

Только он все равно на пол стриг. Паршивые у него манеры. Без балды.

– А с кем у Стрэдлейтера свиданка? – спрашивает. Он вечно фараонит, за кем ухлестывает Стрэдлейтер, хоть самого Стрэдлейтера и терпеть не может.

– Фиг знает. А чего?

– Да ничего. Я эту падлу просто не перевариваю. Вот уж падла так падла, не перевариваю таких.

– А *он* по тебе с ума сходит. Говорил, что ты, нафиг, просто принц сказочный, – говорю я. Я неслабо так часто обзываюсь «принцем», когда валяю дурака. Чтоб не доставало ничего.

– Он все время такой надменный, – говорит Экли. – Не перевариваю эту падлу. Он, можно подумать...

– Ты не будешь добр ногти стричь над *столом*, а? – говорю. – Я ж тебя уже пятьдесят...

– Он, нафиг, все время такой надменный, – говорит. – Мне даже кажется, что у этой падлы и мозгов никаких нет.

Он только *думает*, что есть. Думает, он чуть ли не самый...
– Экли! Ну ёксель-моксель. Не будешь ли *добр* стричь свои захезанные ногти над столом? Я тебя пятьдесят раз уже попросил.

И он для разнообразия стал стричь их над столом. Делает что-нибудь, только если на него наорешь.

Я какое-то время на него смотрел. Потом говорю:

– Ты на Стрэдлейтера злишься потому, что он как-то ляпнул, дескать, тебе иногда не мешало бы зубы чистить. Он же не хотел тебя оскорбить, ну сколько можно? *Ляпнул* он не так или что-то, но ничего обидного не хотел. Он только хотел сказать, что лучше будет и *тебе*, и другим, если ты хоть иногда станешь чистить зубы.

– Я чищу зубы. *Хватит* уже.

– Ни фиги не чистишь. Я видел – не чистишь, – говорю. Но не погано сказал. Мне его стало как бы жалко. Ну то есть, само собой, это ж не очень приятно, когда тебе говорят, что ты не чистишь зубы. – Нормальный Стрэдлейтер. Он ничего, – говорю. – Ты его не знаешь, вот в чем засада.

– А по-моему, все равно падла. Напыщенная падла.

– Напыщенный – да, но в других делах – очень душевный. Точняк, – говорю. – Ну смотри. Предположим, например, что у Стрэдлейтера есть такой галстук или как-то, и он тебе понравился. Скажем, носит он галстук, который тебе нравится, как не знаю что, – это я тебе пример даю просто. Знаешь, что он сделает? Он, наверно, его снимет и подарит

тебе. По-честному. Или еще знаешь? Он его просто у тебя на кровати оставит, например. Но этот, нафиг, галстук он тебе *отдаст*. А другие парни, наверно...

– *Черт*, – говорит Экли. – Будь у меня столько деньжищ, я б тоже.

– Не, ты б не стал. – Я покачал головой. – Ты бы не стал, сынок. Будь у тебя столько деньжищ, ты был бы величайший...

– Хватит звать меня сынком, черт бы тебя драл. Да я тебе, паршивцу, в штрики гожусь.

– Не годишься. – Ух какой он бывает иногда зануда. Ни за что не упустит шанса напомнить, что тебе шестнадцать, а ему восемнадцать. – Во-первых, я тебя, нафиг, к себе в семью не пущу...

– Ну и хватит меня тогда обзывать...

Тут дверь вдруг распахивается, и влетает этот Стрэдлейтер – впопыхах. Он вечно впопыхах. У него всегда кипиш. Подскочил ко мне и так игриво, как не знаю что, шлепнул по щекам – а такое иногда жутко доканывает.

– Слышь, – говорит, – ты куда-нибудь вечером намыливаешься?

– Фиг знает. Можно. А чего такое – снег идет? – У него все пальто в снегу было.

– Ага. Слышь. Если ты никуда не намылился, дал бы мне клетчатый пидж поносить, что ли?

– Кто выиграл? – спрашиваю.

– Еще полматча. Мы сваливаем, – говорит Стрэдлейтер. – Кроме шуток, ты будешь клетчатый сегодня надевать? Я на свой серый фланелевый какую-то срань вылил.

– Нет, но фигня будет, если ты его своими плечищами растянешь, – говорю. Рост у нас где-то один, а весит он, считай, вдвое больше. И у него очень широкие плечи.

– Не растяну. – И он впопыхах кинулся к шкафу. – Как оно, Экли? – говорит. Парень он ничего так, дружелюбный, этот Стрэдлейтер. Дружелюбие у него, правда, отчасти фуфловое, но он, по крайней мере, с Экли всегда здороваётся и всяко-разно.

Экли на это «как оно» только, с понтом, хрюкнул. *Отвечать* ему, видите ли, непротык, а по крайней мере не хрюкать – кишка тонка. Потом говорит мне:

– Я, наверно, пойду. Увидимся.

– Ладно, – отвечаю. Когда он к себе отчаливал, сердце вообще-то кровью не обливалось.

Тут этот Стрэдлейтер начал снимать пальто, галстук и всяко-разно.

– Я, наверно, побреюсь наскоряк, – говорит. Щетина у него вполне себе густая. А то.

– Где свиданка? – спрашиваю.

– Она меня во Флигеле ждет. – И он вышел из комнаты с несессером и полотенцем под мышкой. Ни рубашки, ни шипа. Он всегда с голым пузом ходит – считает, что у него офицерское сложение. Это вообще правда. Куда деваться.

Мне особо делать было нечего, поэтому я тоже пошел в тубзо, и мы там потрындели, пока Стрэдлейтер брился. В тубзе мы были одни, потому что все еще не вернулись со стадиона. Там жара стояла, как я не знаю что, все окна запотели. В тубзе с десятков раковин, все вдоль стены. Стрэдлейтер занял ту, что посередке. Я сел на ту, что рядом, и давай крутить холодный кран туда-сюда – есть у меня такая дерганая привычка. Стрэдлейтер же, пока брился, свистел «Песню об Индии»⁸. Свистит он эдак пронзительно, почти никогда не попадает, а песни всегда выбирает такие, которые свистеть трудно, даже если ты *зашибись* какой свистун, вроде этой «Песни об Индии» или «Бойни на Десятой авеню»⁹. Обдри-стать песню ему – раз плюнуть.

Помните, я говорил, что Экли по всем привычкам своим халда? Стрэдлейтер, в общем, тоже, только по-другому. Он больше тайная халда такая. *Выглядит*-то он всегда путёво, этот Стрэдлейтер, но, к примеру, поглядеть на лезвие, которым он бреется. Всегда ржавое, как я не знаю что, волосы

⁸ «Песней об Индии» в США обычно называют арию индийского гостя из оперы русского композитора Н. А. Римского-Корсакова (1844–1908) «Садко» (либретто Римского-Корсакова и В. Бельского, 1898).

⁹ «Бойня на Десятой авеню» – балет американского композитора Ричарда Роджерса (1902–1979), поставленный Джорджем Баланчиным для музыкальной комедии «На цыпочках» (1936).

налипли, пена и прочая херня. Он его никогда ни мыл, ничего. Вот *выглядел* он всегда уматно, когда заканчивал себе перышки чистить, но все равно он тайная халда – знали бы его так же, как я. А перышки он себе чистил, чтоб выглядеть уматно, потому что сох по себе до безумия. Считал себя самым большим симпатягой во всем Западном полушарии. Нет, он *ничего* так симпатяга – тут уж никуда не денешься. Но он скорее такой симпатяга, про которого штрики ваши, если увидят его фотку в выпускном альбоме, сразу спрашивают: «А *это* что за мальчик?» То есть главным образом альбомный такой симпатяга. Я в Пенси много парней знал, которые, по-моему, гораздо симпатичней Стрэдлейтера, но в выпускном альбоме ни фи́га они не симпотные. Там у них здоровенные шнобели или уши торчком. Со мной так часто бывало.

Ладно, в общем, я сидел на раковине рядом с той, у которой брился Стрэдлейтер, и, с понтон, воду включал и выключал. Красный охотничий кепарь я не снял – козырьком назад и всяко-разно. Зашибись у меня шапчонка.

– Эй, – говорит Стрэдлейтер. – Хочешь мне большой добряк сделать?

– Чего? – отвечаю. Не очень пылко. Он вечно просит сделать ему какой-нибудь большой добряк. Возьмите любого симпатягу, да любого, кто себя таким фертом считает, – и они вечно просят сделать им большой добряк. Только потому, что *сами* по себе так сохнут, они думают, что и *ты*

по ним сохнешь, и сдохнуть как хочешь им сделать добряк. Вроде как умора даже в каком-то смысле.

– Ты вечером идешь куда-нибудь? – говорит.

– Можно. А можно и нет. Фиг знает. А чего?

– Мне к понедельнику надо сто страниц по истории прочитать, – говорит он. – Как насчет накатать за меня сочинение по английскому? А если я эту хрень к понедельнику не сделаю, я в говне по шею, потому и спрашиваю. Как насчет?

Вот так насмешка судьбы. Куда деваться.

– *Меня*, значит, отсюда вышибают нафиг, а *ты* меня прошибь, нафиг, сочинение написать, – говорю я.

– Ага, я знаю. Только такая фигня – я в говне по шею, если не сдам. Будь корешем. Будь корефаном. Лады?

Сразу я ему не ответил. Время потянуть – это полезно для всяких гадов вроде Стрэдлейтера.

– Про чего? – спрашиваю.

– Чего *угодно*. Чего *угодно* наглядное описать надо. Комнату. Или дом. Или где жил, или еще чего-нибудь – ну, в *общем*. Только чтоб наглядное было, как хрен знает что. – Говоря это, он нехило зевал. А мне будто за шкуру сало заливают от такого. Ну, то есть просят тебя, нафиг, им добряк сделать, а сами *зевают*. – Только не *сильно* гладко пиши, вот и все, – говорит. – Этот падла Харцелл считает же тебя шишкой по английскому и знает, что мы в одной комнате живем. В смысле, не все запятые там втыкай на место – ну ты понял.

От такого мне тоже будто салом за шкуру. Я к тому, что

ты уматно сочинения пишешь, а тебе про запятые втирают. Стрэдлейтер всегда так делает. Чтоб думали, будто *он* сочинения пишет паршиво только потому, что запятые не туда сует. В этом смысле он слегонца похож на Экли. Я однажды сидел рядом с Экли на баскетболе. У нас зашибись парень в команде был, Хауи Койл, закладывал в корзину с середины площадки, ни щита даже не касался, ничего. И Экли всю, нафиг, игру талдычил, что у Койла – идеальное для баскетбола *телосложение*. Господи, как же я эту бодягу ненавижу.

Немного погода меня достало сидеть на раковине, поэтому я на пару шагов отвалил и стал чечетку бить – просто от нефиг делать. Развлекался, и все. Вообще-то я ни чечетку танцевать не умею, ничего, но в тубзе пол каменный, на нем чечетку неслабо бить. Я давай себе изображать этих, из кино. Из *мюзиклов*. Кино я ненавижу пуще яда, а вот изображать мне зашибись. А этот Стрэдлейтер на меня в зеркало смотрел, пока брился. Мне же только публику подавай. Такой вот я показушник.

– Я сын губернатора, нафиг, – говорю. Во я старался. По всему тубзу чечетку бил. – Он не хочет, чтоб я стал чечеточником. Он хочет, чтоб я в Оксфорд поступил. Но чечетка у меня, нафиг, в крови. – Этот Стрэдлейтер ну давай ржать. С чувством юмора у него порядок вообще-то. – Сегодня у «Причуд Зигфелда»¹⁰ премьера. – У меня уже дышалка сби-

¹⁰ «Причуды Зигфелда» – музыкальное шоу-ревю американского импресарио Флоренца Зигфелда-младшего (1867–1932).

лась. Вообще ни шиша не осталось. – Солист уже не может. Нажрался, как последняя сволочь. Так кого же возьмут на его место? Меня, вот кого. Малютку, нафиг, губернаторова сынка.

– Ты где это нарыл? – спрашивает Стрэдлейтер. Это он про мой кепарь. До того и не видел его вообще.

У меня все равно дыхалка сдохла, поэтому я перестал валять дурака. Снял кепарь и оглядел его раз, наверно, в девять ностый.

– Утром в Нью-Йорке. За один зеленый. Нравится?

Стрэдлейтер кивнул.

– Четкая, – говорит. Но это он мне польстил, потому что сразу же и говорит: – Слышь. Так ты напишешь мне сочинение? Мне надо знать.

– Если будет время, напишу. Если не будет, не напишу, – говорю. Потом я подошел и снова сел на раковину рядом. – А с кем свиданка? – спрашиваю. – С Фицджералд?

– Ох, нет! Я ж тебе говорил, у меня с этой свиньей все.

– Да ну? Так отдай ее мне, старина. Без балды. Она моего типа.

– Бери... Она для тебя слишком старая.

Тут вдруг – ни с того ни с сего, по-честному, ну только разве что на меня опять стих напал повалить дурака, – мне захотелось спрыгнуть с раковины и замесить этого Стрэдлейтера полунельсоном. Это борцовский захват такой, вдруг вы не знаете, хватаешь человека за шею и душишь до смерти,

если охота. Так я и сделал. Я на него кинулся, как пантера.

– Кончай, Холден, язви тебя! – орет Стрэдлейтер. Ему дурака валять не хотелось. Он брился и всяко-разно. – Ты чего хочешь – чтоб я башку себе отчищал?

Но я его не отпустил. Зашибись у меня полунельсон получился.

– Освободись из тисков моего захвата, – говорю.

– Гос-споди *боже* мой. – Он отложил бритву и дернул вдруг руками вверх – как бы сломал мне хватку. Крепкий он парень. А я слабак. – Ладно, кончай эту бодягу, – говорит. И снова давай бриться. Он всегда бреется дважды, чтоб роскошно выглядеть. Этой своей захезанной бритвой.

– Так с кем у тебя свиданка, если не с Фицджералд? – спрашиваю. Я опять сел на раковину возле него. – С этой лапусей Филлис Смит?

– Нет. Должно было с ней, но мы все просрали. У меня теперь соседка девчонки Бада Тоу... Эй. Чуть не забыл. Она *тебя* знает.

– Кто? – спрашиваю.

– С кем у меня свиданка.

– Во как? – говорю. – Как ее звать? – Я неслабо так заинтересовался.

– Счас вспомню... Э-э. Джин Гэллахер.

Ух, я чуть *замертво* на пол не шмякнулся, когда он это сказал.

– *Джейн* Гэллахер, – говорю. Я даже с раковины поднялся,

когда он ее назвал. Чуть, нафиг, не сдох на месте. – Ну еще б я ее, нафиг, не знал. Да она, считай, под *боком* у меня жила позапрошлым летом. У нее еще такой здоровенный, нафиг, доберман-пинчер. Так мы с ней и познакомились. Ее собака все время приходила к нам во...

– Холден, ты мне свет загородил, язви тебя, – говорит Стрэдлейтер. – Вот тебе надо тут стоять?

Ух как меня разгоношило. Куда деваться.

– Где она? – спрашиваю. – Надо пойти с ней поздороваться или как-то. Где она? Во Флигеле?

– Ну.

– А как она про меня вспомнила? Она теперь в Б.М. ходит? Она говорила, что туда, наверно, пойдет. Но и в Шипли, говорила, тоже. Я думал, она в Шипли пошла. Как она про меня вспомнила? – Меня вполне себе разгоношило. Почестному.

– Да не знаю, язви тебя. Подвинься, а? Ты на моем полотенце, – говорит Стрэдлейтер. Я сидел на его дурацком полотенце.

– Джейн Гэллахер, – говорю. Никак не мог опомниться. – Святый милостивый боже.

А этот Стрэдлейтер давай себе «виталисом» волосы мазать. *Моим* «виталисом».

– Она танцует, – говорю. – Балет и всяко-разно. Раньше репетировала часа по два каждый день, прямо в самую жару всяко-разно. Боялась, что у нее от этого ноги паршивые бу-

дуг – толстые и всяко-разно. А я с ней в шашки все время играл.

– Во *что* ты с ней все время играл?

– В шашки.

– *Шашки*, язви тебя!

– Ну. Она своими дамками ходить никак не хотела. Как делала – проходит в дамки, а потом этой дамкой не двигает. Оставляет в задней линии. И так вот всех по задней линии и выстраивала. И никогда ими не ходила. Ей просто нравилось, как они все смотрятся в задней линии.

Стрэдлейтер ничего не сказал. Такая хрень почти никого не интересует.

– Ее штруня в тот же клуб ходила, что и мы, – говорю. – Я там клюшки подносил время от времени, грошей заработать. И пару раз ее штруне подносил. Она где-то сто семьдесят набирала на девять лунок.

Стрэдлейтер меня почти не слушал. Все прилизывал свои роскошные локоны.

– Надо хоть пойти с ней поздороваться, – говорю.

– Ну сходи.

– И схожу, погоди вот.

Он снова начал пробор себе делать. Чтобы причесаться, у него где-то час уходит.

– Ее штрики развелись. Мамаша потом опять вышла за какого-то кирюху, – говорю я. – Задохлик такой, ноги волосатые. Я его помню. Все время шорты носил. Джейн говори-

ла, он какой-то, нафиг, драматург или как-то, но я только видел, как он киряет все время да по радио ни одной, нафиг, детективной передачи не пропускает. И еще он по дому голый бегал. А там *Джейн* и всяко-разно.

– Да ну? – говорит Стрэдлейтер. Вот это его вставило. Про кирюху, который голый по дому бегают, а там Джейн. Стрэдлейтер – он очень озабоченный гад.

– Паршивое у нее было детство. Без балды.

А вот это его уже не заинтересовало. Ему б только помазать кого.

– Джейн Гэллахер. Бож-же. – Я не мог выкинуть ее из головы. По-честному не мог. – Надо сходить поздороваться с ней, по крайней мере.

– Ну а чего ж, нафиг, тогда не сходишь, а только трындишь? – говорит Стрэдлейтер.

Я подошел к окну, но там фиг чего увидишь, так оно все запотело от жары в тубзе.

– Я сейчас не в настроении, – говорю. Я в нем и не был. Для такого настроение нужно. – Я думал, она в Шипли пошла. Я бы зуб дал, что она пошла в Шипли. – Я немного ходил по тубзу. Мне больше нечего было делать. – А ей футбол понравился?

– Ну да, наверно. Фиг знает.

– А она тебе говорила, что мы раньше все время в шашки играли, или как-то?

– Да не знаю я. Язви тебя, я ж с ней только *познакомил-*

ся, – говорит Стрэдлейтер. Он наконец дочесал свои, нафиг, роскошные локоны. И теперь убирал в несессер эти захезанные приبلуды.

– Слышь. Ты ей привет передай, а?

– Лады, – говорит Стрэдлейтер, но я знал – ни шиша он, наверно, не передаст. Такие никогда приветы никому не передают.

Он вернулся в комнату, а я еще в тубзе немного поваландался, подумал об этой Джейн. Потом тоже двинул в комнату.

Стрэдлейтер как раз надевал галстук перед зеркалом, когда я зашел. Он половину жизни, нафиг, проводит перед зеркалом. Я сел в кресло и вроде как еще понаблюдал.

– Эй, – говорю потом. – Только не ляпни ей, что меня выперли, ладно?

– Лады.

Вот что в Стрэдлейтере хорошо. Ему, нафиг, не нужно всякую мелкую хреноту объяснять, как Экли. Главным образом, наверно, потому, что ему неинтересно. Вот почему, если по-честному. У Экли же все иначе. Экли – очень пронырливый гад.

Стрэдлейтер надел мой пидж в мелкую клетку.

– Ёксель-моксель, ты хоть постарайся его не растягивать, – говорю. Я его только пару раз надевал.

– Не буду. Где, нафиг, мои сиги?

– На столе. – Он никогда не помнит, куда, нафиг, все кла-

дет. – Под кашне.

И он положил их в карман – ко *мне* в карман.

Я вдруг – для разнообразия – передвинул кепарь вперед козырьком. Мне вдруг ни с того ни с сего стало как-то дерганно. Я ж вообще дерганный.

– Слышь, а куда вы с ней на свиданку двигаете? – спрашиваю. – Ты уже прикинул?

– Фиг знает. В Нью-Йорк, если время будет. Она только до полдесятого отпросилась, изви ее.

Фигово он это сказал, поэтому я ему:

– Это она потому, что просто не знала, какой ты симпатичный очаровашка, гад. А если б *знала*, отпросилась бы до полдесятого *утра*.

– Правильно, нафиг, – говорит Стрэдлейтер. Его так просто не допечь. Слишком самонадеянный. – Ладно, без шуток. Напиши мне сочинение, – говорит. Он уже и пальто надел, совсем к выходу намылился. – Сильно не напрягайся, просто чтоб наглядное было, как не знаю что. Лады?

Я ему не ответил. Не хотелось. Я только сказал:

– Спроси, она так же дамок на задней линии держит?

– Лады, – говорит Стрэдлейтер, но я знал – ни шиша он не спросит. – А ты не напрягайся. – И он с грохотом отвалил нафиг.

После его ухода я где-то с полчаса посидел. То есть просто сидел в кресле, ни фиги не делал. Думал про Джейн, как у Стрэдлейтера с ней свиданка и всяко-разно. Так дергался,

что чуть не спятил. Я уже говорил вам, какой Стрэдлейтер озабоченный гад.

Тут вдруг Экли снова в комнату врывается через эти, на-фиг, шторы душевые, как обычно. Я в кои-то свои дурацкие веки, по-честному, рад был его видеть. Хоть отвлек меня от этой бодяги всей.

Он мотылялся по комнате где-то до ужина, трындел про всех в Пенси, кого он терпеть не может, да еще неслабый прыщ на подбородке выдавливал. Даже платок не достал. Думаю, у этого гада и платков-то не водится, если вам правду сказать. Я у него их по-любому ни разу не видел.

5

В субботу по вечерам в Пенси кормили одним и тем же. Как бы кипиш страшный, потому что давали бифштекс. На тыщу спорим, они так делали потому, что у многих парней штрики по воскресеньям в школу приезжают, и этот Тёрмер, наверно, прикинул: всякая штруня своего дорогушу станет допрашивать, что это он кушал вчера на ужин, и он ей скажет: «Бифштекс». Куда деваться. Видали б вы эти бифштексы. Такие сухие козявки, даже не разрежешь. По таким вечерам к бифштексам всегда давали комки пюре, а на десерт – «Румяную Бетти»¹¹, которую никто не ел, кроме разве что

¹¹ «Румяная Бетти» – американское название яблочного пудинга, запеканки или шарлотки в сухарях. В Англии рецепт «Бетти» был впервые опубликован в

малявок из начальной школы, которые ни шиша не смыслят, да каких-нибудь Экли, которые *всё* сожрут.

Хотя когда мы вышли из столовки, было вроде ничего. Снега нападало дюйма на три, и он еще сыпался, прямо как ненормальный. Красиво, как не знаю что, мы все стали кидаться снежками и вообще валять дурака. Детский сад, но всем зашибись.

У меня ни свиданки не было, ничего, поэтому мы с этим моим корефаном, Мэлом Броссаром, он еще в борцовской команде, решили прокатиться на автобусе в Эйджерстаун, зачикать по гамбургеру и, может, кинцо какое паршивое позырить. Ни ему, ни мне на жопе весь вечер сидеть не хотелось. Я спросил Мэла, не против ли он, если мы с собой прихватим Экли. Я чего спросил – Экли ж никогда и *ничего* по субботам не делает, только сидит весь вечер у себя и прыщи давит или чего-то. Мэл сказал, что не *против*, но от радости с ума не сойдет. Экли ему не очень в жилу. В общем, мы разошлись по комнатам собираться и всяко-разно, и пока я влачивался в галоши и прочие дела, покричал этому Экли, не хочет ли сходить в кино. Ему через шторы меня нормально слышно было, но сразу он все равно не ответил. Такие сразу никогда не отвечают. Потом наконец пришел – через эти самые, нафиг, шторы, встал на порожке душа и спросил, кто еще идет. Вечно ему знать надо, кто еще идет. Ей-богу, очу-

тись он где-нибудь на необитаемом острове и спаси вы его, он бы первым делом стал спрашивать, кто на веслах, и только потом сел бы в шлюпку. Я говорю:

– Мэл Броссар.

Он говорит:

– *Вот* гадство... Ладно, я сейчас. – Будто одолжение сделал.

Сейчас у него – это часов пять. Пока он там копался, я подошел к окну, открыл и голыми руками слепил снежок. Хорошо из такого снега лепить. Но кидать его я никуда не кинул. Хотя *собрался* было. В машину через дорогу. Но передумал. Путёвая такая машина, белая. Потом я хотел его кинуть в пожарный гидрант, но он тоже был вроде такой путёвый и белый. В конце концов так я никуда и не кинул. Только закрыл окно и походил с этим снежком по комнате, а сам лепил его все туже. Потом, когда мы с Броссаром и Экли уже сели в автобус, я снежок этот все равно из рук не выпускал. А водитель открыл двери и заставил выбросить. Я ему *говорю*: ни в кого я этим снежком не заеду, – а он не поверил. Никогда никто не верит.

И Броссар, и Экли ту картину уже видали, поэтому мы просто взяли по паре гамбургеров и немного поиграли на пинболе, а потом вернулись на автобусе в Пенси. Не посмотрели кино – ну и фиг с ним. Там какая-то комедия с Кэри Грантом¹² и всякая такая херня. Кроме того, с Броссаром и

¹² Кэри Грант (Арчибалд Александр Лич, 1904–1986) – американский киноак-

Экли я уже в кино ходил. Они оба ржут, как кони, даже когда не смешно. Мне с ними рядом противно даже сидеть.

В общагу мы вернулись всего где-то без четверти девять. Этот Броссар на бридже залипает, поэтому он стал искать по всей общаге, с кем бы сыграть. А Экли для разнообразия завис у меня в комнате. Только на ручку Стрэдлейтерова кресла садиться не стал, а разлегся у меня на кровати, прямо харей в подушку мне воткнулся и всяко-разно. И стал бубнить, монотонно так, и в прыщах своих ковыряться. Я тыщу раз ему намекал так и этак, но избавиться от него все равно не смог. Бубнит и бубнит про какую-то свою девку, которую прошлым летом вроде бы оприходовал. И до этого сто раз про нее рассказывал. Только всякий раз – по-другому. То он ей засаживает в «бьюике» своего двоюродного, то под променадом на набережной. Сплошная туфта, само собой. Он целочка такая, каких мало. Сомневаюсь, что он даже мацал кого-нибудь. В общем, пришлось мне расколоться и сказать ему, что мне надо сочинение Стрэдлейтеру писать, поэтому пусть он нафиг валит отсюда, чтоб я сосредоточился. Он в конце концов и свалил, но, как обычно, с отвалом своим не торопился. Когда он ушел, я влатался в пижаму и халат, надел этот свой кепарь и сел писать сочинение.

Вся фигня в том, что я не мог придумать ни комнаты, ни дома, ничего, чтоб наглядно описать так, как надо Стрэдлейтеру. Мне по-любому не очень в жилу описывать комнаты и

дома. Поэтому я чего – я написал про бейсбольную перчатку моего братца Олли. Очень наглядный предмет. По-честному. У моего братца Олли была эта перчатка полевого игрока на правую руку. Он левша потому что. А наглядного в ней то, что на всех пальцах у нее и на кармане, и везде понаписаны стихи. Зелеными чернилами. Он их там понаписал, чтоб было чего почитать, когда стоит в поле, а битой никто не машет. Братец уже умер. У него была лейкемия, и он умер 18 июля 1946 года, когда мы жили в Мэне. Он бы вам понравился. На два года младше меня, но котелок раз в полста лучше варил. До ужаса варил просто. Его учителя все время записки штруне писали: мол, как им приятно, что у них в классе такой пацан учится. Причем без балды. По серьезу. Но тут дело не только в том, что он в семье был самый умный. Еще он был самый нормальный – по-всякому. Никогда ни на кого не злился. Считается, что рыжие легко выходят из себя, но Олли – никогда, а он был очень рыжий. Я вам скажу, какой. Уже в десять лет я начал играть в гольф. Помню, как-то летом, мне лет двенадцать было, я только прицелился и всяко-разно, как вдруг у меня верняк: я сейчас обернусь, а там Олли. Поворачиваюсь – точно, сидит на велике за оградой: там все поле огороженное, и он сидит, ярдов сто пятьдесят от меня, смотрит, как я первый удар сделаю. Вот какой он рыжий был. Но все равно – ох какой же он был путёвый. Иногда за ужином подумает о чем-нибудь – и так ржать начинает, что со стула чуть не падает. Мне всего тринадцать было, и меня

собирались отдать мозгоправу и всяко-разно, потому что я в гараже все стекла перебил. Ну и отдали бы. По-честному. Когда он умер, я ночевал в гараже и кулаком перебил все, нафиг, стекла – а просто так. Я даже хотел побить стекла в том универсале, который у нас тогда летом был, только руку себе уже сломал и вообще, потому и не смог. Дурь, конечно, это да, но я вообще не соображал, что делаю, а вы Олли не знали. Рука у меня до сих пор иногда побаливает, если дождь и всяко-разно, и кулак до конца не сжимается – в смысле, чтобы вмазать, – а так мне наплевать. В смысле, я ж все *равно* не буду хирургом там, или скрипачом, или еще *как-то*.

Ладно, в общем, про это я и написал Стрэдлейтеру сочинение. Про эту перчатку Олли. У меня она в чемодане нашлась, я ее вытащил и списал с нее стихи. Только надо было Олли имя поменять, а то доедут, что это мой братец, а не Стрэдлейтера. Не очень в жилу было его менять, но ничего другого наглядного я так и не придумал. А кроме того, писать про это было, с понтом, зашибись. Где-то около часа ушло, потому что печатать надо было на паршивой машинке Стрэдлейтера, а она у меня все время заедала. На своей я не печатал, потому что дал ее одному парню дальше по коридору.

Где-то пол-одиннадцатого, наверно, закончил. Но ни устал, ничего, поэтому еще сколько-то смотрел в окно. Снег больше не шел, только время от времени где-то машина никак не заводилась. Да еще слышно было, как этот Экли хра-

пит. Добивало через все эти, нафиг, душевые шторы. У него чего-то с пазухами, поэтому, когда спит, дышать ему не в жилу. С этим парнем вообще все не так. Пазухи, прыщи, зубы паршивые, изо рта воняет, ногти захезанные. Даже как-то жалко падлу эту долбанутую.

6

Бывает, какую-то фигню вспомнить трудно. Я вот думаю, как Стрэдлейтер вернулся со своей свиданки, которая с Джейн. В смысле, я точно не помню, чего делал, когда услышал эти его дурацкие, нафиг, шаги по коридору. Наверно, еще в окно глядел, но честно — я не помню. Потому что, нафиг, колотился. Если меня насчет чего-то по серьезу колотить начинает, я не шибаясь просто так. Если меня колотит, мне даже отлить хочется. Только я не отливаю. Меня слишком колотит. И я не хочу отвлекаться. Если б вы знали Стрэдлейтера, вас бы тоже заколотило. Я с этим гадом пару раз на спаренные свиданки ходил, я в курсе. Он беспринципный. По-честному.

В общем, в коридоре там сплошь линолеум и всяко-разно, поэтому слышно его было, нафиг, до самой комнаты. Я даже не помню, где сидел, когда он зашел, — возле окна, у себя в кресле или у него. Честно не помню.

Он заходит и давай гундеть, какая на улице холодрыга. Потом говорит:

– А где, нахер, все? Тут, нафиг, как в морге.

Я даже отвечать ему не стал. Если он такой, нафиг, дурила и не соображает, что раз у нас суббота и вечер, все либо шляются где-то, либо дрыхнут, либо домой на выходные отвалили, – чего ради мне морочиться и его просвещать? Он стал раздеваться. Ни одного, нафиг, слова про Джейн не сказал. Ни единого. Я тоже. Только смотрю на него. Он мне хоть спасибо сказал за пидж. Определил его на вешалку и сунул в шкаф.

А потом, когда галстук развязывал, спрашивает, написал ли я ему это, нафиг, сочинение. Я говорю: у тебя на кровати, нафиг. Он пошел и стал читать, пока рубашку расстегивал. Стоит, читает и себя вроде как по голой груди и животу поглаживает, а рожа при этом дурацкая. Он себя вечно по груди и животу гладит. Прямо сохнет по себе.

И тут вдруг мне говорит:

– Холден, *язви* тебя. Это же, нафиг, про бейсбольную перчатку.

– И чего? – говорю я. Холодно так говорю, как не знаю что.

– В смысле – и *чего*? Я ж тебе сказал, надо про *комнату*, нафиг, про дом или еще как-то.

– Ты сказал, что надо наглядно. Какая, нафиг, разница, если про бейсбольную перчатку?

– Пошел ты к черту. – Он разозлился, как не знаю что. По-честному рассвирепел. – Ты вообще все через жопу делаешь. – Посмотрел на меня: – И чего удивляться, если ты

тут, нафиг, провалился, – говорит. – Ты же, *нафиг, ни шиша* не делаешь, как надо. Без балды. Ни шиша, нафиг.

– Ладно, тогда давай его сюда, – говорю. Встал и выдернул сочинение прямо, нафиг, у него из руки. И порвал.

– Ты это на хера? – спрашивает он.

Я ему даже не ответил. Только клочки в мусорку выкинул. Потом лег на свою кровать, и мы с ним долго ничего не говорили. Он весь разделся, до трусов, а я лежал – а потом закурил. В общаге курить нельзя, но если ночью, когда все дрыхнут, или нет никого и никто дым не нашмыгает, то можно. Кроме того, мне хотелось позлить Стрэдлейтера. Его с тормозов просто сносит, если правила нарушаешь. Он-то в общаге никогда не курил. Только я.

И он по-прежнему ни одного слова про Джейн не сказал. Поэтому я в конце концов говорю:

– Ты, нафиг, что-то поздновато вернулся, если она только до полдесятого отпрашивалась. Это она, выходит, из-за тебя опоздала?

Он сидел у себя на кровати как раз, стриг, нафиг, ногти на ногах, когда я у него это спросил.

– На пару минут, – говорит. – Кому вообще в голову придет в субботу отпрашиваться только до полдесятого?

Ёксель-моксель, как же я его ненавидел.

– В Нью-Йорк смотались? – спрашиваю.

– Чокнулся? Как тут, нахер, смотаешься в Нью-Йорк, если она до полдесятого отпросилась?

– Да, туго.

Он на меня пялится.

– Слышь, – говорит, – если ты в комнате курить будешь, может, в тубзо пойдешь это делать? Может, ты, нахер, отсюда и сваливаешь, а мне придется до выпуска тут зависнуть.

Пошел он. По-честному. И я курил себе дальше, как ненормальный. Только на бок вроде как повернулся, чтобы посмотреть, как он ногти себе, нафиг, стрижет. Что надо школа. Куда ни глянешь – кто-нибудь или ногти стрижет, или прыщи давит, или еще как-то.

– Ты ей привет передал? – спрашиваю.

– Ну.

Хрен там, гад.

– Чего сказала? – говорю. – Ты спросил, она по-прежнему дамок в задней линии держит?

– *Нет*, не спросил. Ты чего, нахер, думаешь, мы весь вечер чего – в шашки играли, язви тебя?

Я ему и отвечать не стал. *Как* же я его ненавидел.

– Так если в Нью-Йорк не лётали, куда вы с ней тогда ходили? – спрашиваю я чуть погодя. Я едва сдерживался, чтоб голос на всю комнату не трясся. Ух как меня колотило. У меня так и было *предчувствие*, что у них там что-то не то стряслось.

Тут он ногти свои, нафиг, достриг. Встал в одних трусах, нафиг, и давай, нафиг, дурачиться. Подошел к моей кровати, нагнулся и ну меня в плечо дурагонски так фигачить.

– Кончай, – говорю. – Вы где с ней были, если в Нью-Йорк не ездили?

– Нигде. Сидели в машине просто, нафиг. – И долбанул еще разок, дуругон.

– Харэ, – говорю. – В чьей машине?

– Эда Бэнки.

Эд Бэнки в Пенси баскетболистов тренировал. Этот Стрэдлейтер у него в любимчиках, потому что в команде центральной, и Эд Бэнки, если надо, всегда ему давал машину. Учащимся вообще-то не разрешается брать у преподав машины, но все эти гады спортивные вместе кучкуются. Во всех школах, куда я ходил, спортивные гады – одна шайка-лейка.

А Стрэдлейтер мне все так же в плечо метил. У него в кулаке зубная щетка была, и он ее сунул в рот.

– И чего делали? – спрашиваю. – Оприходовал ты ее в машине Эда Бэнки? – А голос у меня дрожит – аж жуть.

– Ай-я-яй, как некрасиво. Ну-ка давай я тебе рот с мылом вымою.

– Да или нет?

– Это секрет фирмы, старичок.

Чего дальше было, я не сильно помню. Я только с кровати встал, с понтом, в тубзо или как-то, а потом попробовал Стрэдлейтеру заехать со всей дури – прямо в эту его щетку, чтоб она ему, нафиг, всю глотку раскроила. Только промазал. Недобил. Попал ему в висок там или куда-то. Может, и больно, а все равно не как мне хотелось. Может, и большее

было бы, но я вмазал ему правой, а она у меня нормально не сжимается. Из-за травмы этой, я вам говорил.

В общем, дальше я помню, что валяюсь, нафиг, на полу, а он сидит на мне, и рожа вся красная. То есть не сидит даже, а *колени* мне на грудь поставил, а весит он тонну, не меньше. И руки мне прижимает, чтоб я, значит, еще раз ему не вмазал. Убил бы.

– Чего за херня, а? – талдычит он, а рожа его дурацкая все больше багровеет.

– Убери свои паршивые *колени* с моей *груди*, – говорю. Сам чуть не реву. По-честному. – Давай *двигай*, урод захезанный.

А он ни в какую. Руки не отпускал мне, хоть я его обзывал падлой и всяко-разно часов, наверно, десять. Даже и не помню, что еще я ему говорил. Говорил, что он думает, будто может оприходовать кого захочет. Говорил, что ему наплевать, держит девка всех дамоч в задней линии или нет, а наплевать ему потому, что он, нафиг, тупой дебил. Он терпеть не может, если его дебилом называют. Всем дебилам это не в струю.

– Пасть свою закрой, Холден, – говорит он, а у самого рожа дурацкая, багровая. – Заткни пасть, и все, ага?

– Ты даже не знаешь, как ее зовут, Джейн или *Джин*, нафиг, дебил ты!

– А ну *заткнись*, Холден, язви тебя в душу, я тебя предупредил, – говорит он; так я его завел. – Если пасть не за-

ткнешь, я тебе точняк пропишу.

– Убери свои вонючие дебилские колени с моей груди.

– Я отпущу, а ты хлебало свое больше не раскроешь?

Я ему и отвечать не стал.

Он давай еще раз:

– Холден. Я тебя отпущу, а ты орать больше не будешь, лады?

– Да.

Он с меня встал, и я тоже поднялся. Грудь у меня от его гнусных коленей болела, как не знаю что.

– Ты гнусная дурацкая падла даже, а не дебил, – говорю.

Тут уж он без *балды* с катушек слетел. Дурацким пальцем своим у меня под носом аж затряс.

– Холден, язви тебя в бога, я тебя *предупреждаю*. Последний раз. Еще разинешь хайло, я тебя...

– А чего и не разинуть? – отвечаю, ору практически. – У вас, у дебилов, всегда одно и то же. Вы никогда не хотите ни о чем поговорить. Так дебилов и определяют. Они никогда ни о чем разум...

Тут он мне по-честному и прописал, и дальше я помню только, что, нафиг, снова на полу валяюсь. Не помню, вырубил он меня или нет, но скорее всего нет. Вырубить – это не баран чихнул, только в кино легко, нафиг. Но из носа у меня кровища по всей комнате хлестала. Когда я посмотрел вверх, Стрэдлейтер чуть не на голове у меня стоял. И под мышкой – этот его, нафиг, несессер.

– Ты чего, нахер, не затыкаешься, когда говорят? – спрашивает. Похоже, его будь здоров потряхивало. Наверно, обделался, что у меня в черепе трещина или как-то, когда я на пол грохнулся. Зря это я все-таки. – Сам напросился, язви тебя, – говорит. Ух как его трясло.

Я даже и вставать не стал. Полежал себе на полу, пообзывал его дебильной падлой. Я так разозлился, что чуть не ревел.

– Слышь. Сходи рожу себе умой, – говорит Стрэдлейтер. – Ты меня слышишь?

Я ему сказал, чтоб сам шел умывать свою дебильную рожу, – детский сад, конечно, только я так рассвирепел, что не знаю. И еще сказал ему, чтобы по пути в тубзо зашел и оприходовал миссис Шмидт. Это жена коменданта. Ей лет шестьдесят пять.

Я так и сидел на полу, пока не услышал, как этот Стрэдлейтер закрыл дверь и пошел по коридору к тубзу. Потом только встал. Охотничий кепарь мой, нафиг, куда-то заделался. Наконец я его нашел. Под кроватью. Надел и этот козырек на затылок сдвинул, как мне больше в жилу, а затем пошел и посмотрел на свою дурацкую рожу в зеркало. Такого месива нигде больше не увидишь. Вся пасть в крови, и подбородок, и даже пижама с халатом. Я, с одной стороны, перетрухал, а с другой – увлекательно. Столько кровищи – уматно же смотрится. Я в жизни дрался всего пару раз, и меня *оба* раза колотили. Я вообще-то не сильно крутой. Я па-

цифист, сказать вам правду.

Катавасия у нас была такая, что Экли наверняка услышал и проснулся. Поэтому я через душевые шторы пошел к нему – поглядеть, что он, нафиг, делает. Я к нему в комнату вообще почти не хожу. Там всегда воняет как-то не в жилу – все потому, что он весь захезанный и с гигиеной у него голяк.

7

Сквозь шторы из нашей комнаты падало капельку света и всяко-разно, и я увидел, что на кровати лежит Экли. Сразу, нафиг, видно, что не спит.

– Экли? – говорю. – Не спишь?

– Не-а.

Там было вполне себе темно, и я наступил на чей-то ботинок и чуть башкой об пол не дерябнулся. Экли вроде как аж сел на кровати и на руку оперся. Вся рожа у него была намазана какой-то белой дрянью – от прыщей. В темноте мог и напугать.

– Ты вообще какого хера тут делаешь? – говорю.

– В смысле – какого хера? Я *друшлять* пытался, пока вы хай не подняли. Вы чего там вообще собачились?

– Где тут свет? – Я никак не мог найти выключатель. Шарил руками по всей стенке.

– На фига тебе свет?.. Вон, под рукой у тебя.

Наконец я его нашел и зажег. Этот Экли прикрылся, чтоб

светом глаза не резало.

– *Бож-же!* – говорит. – Чего это за херня с тобой? – Это он про кровь и всяко-разно.

– Это мы со Стрэдлейтером, нафиг, посрались, – говорю. Потом сел на пол. У них в комнате никогда кресел не было. Хрен его знает, что они с ними тут сделали. – Слышь, – говорю, – а ты в канасту не хочешь сыграть? – В канасту он играть хлебом не корми.

– Да у тебя еще *кровь* идет, елки-палки. Ты приложил бы что-нибудь.

– Перестанет. Слышь. Так ты будешь в канасту или не будешь?

– В канасту, елки-палки. Ты вообще в курсах, сколько сейчас времени?

– Еще не поздняк. Всего где-то одиннадцать, полдвенадцатого.

– *Всего* где-то! – говорит Экли. – Слышь. Мне утром вставать на *мессу*, елки-палки. А вы там – орать и срать, нафиг, посреди... А какого хера вообще дрались?

– Долго рассказывать. Не хочу тебя грузить, Экли. Думаю о твоём благополучии, – говорю. Я ему никогда про свою жизнь не рассказывал. Во-первых, он еще тупее Стрэдлейтера. Рядом с Экли Стрэдлейтер – нафиг, гений. – Эй, – говорю, – а ничего, если на койке Эли сегодня посплю? Он же до завтра не вернется? – Я, нафиг, отлично знал, что не вернется. Эли ездил домой почти на каждые, нафиг, выходные.

– Не знаю я, когда он, нахер, вернется, – говорит Экли.
Ух как меня такое достает.

– Это в каком смысле, нахер, ты не знаешь, когда он вернется? Он же всегда только в воскресенье *вечером* приезжает, нет?

– Да, но, елки-палки, я ж не могу разрешать кому попало спать на его *койке*, если им приспичит.

Я чуть не сдох. Не вставая с пола, дотянулся и потрепал его, нафиг, по плечу.

– Ты просто принц, сынок, – говорю. – Знаешь, что ты принц?

– Нет, я в смысле... Я ж не могу никому сказать: валяй, спи...

– Настоящий принц. Ты, сынок, – джентльмен и истинный ученый. – И это вообще-то правда. – А у тебя, случайно, покурки не найдется? Скажи «нет» – или я на месте сдохну.

– Вообще-то нет. Слышь, так вы за каким хером подрались-то?

Я ему не ответил. Только встал, подошел к окну и выглянул. Мне вдруг так одиноко стало. Уж лучше б я, наверно, и точно сдох.

– Так вы все-таки из-за какого хера дрались? – спрашивает Экли уже, наверно, в полусотый раз. Зануда, ни дать ни взять.

– Из-за тебя, – говорю.

– Из-за *меня*, елки-палки?

– Ну. Я защищал твою, нафиг, честь. Стрэдлейтер сказал, что ты – говнецо человечек. А я такого спустить ему не мог.

Тут он разгоношился:

– Правда? Шутишь? Правда, он так сказал?

Я ответил, что шучу, а затем пошел и лег на кровать Эли. Ух как мне было паскудно. Так, нафиг, одиноко.

– У вас тут воняет, – говорю. – Твои носки добивают аж досюда. Ты их что, в стирку не сдаешь?

– Если не нравится, ты знаешь, что делать, – говорит Экли. Остряк, тоже мне. – Как насчет свет, нафиг, выключить?

Только сразу выключать я не стал. Полежал на койке Эли, подумал про Джейн и всяко-разно. Меня просто сносило с тормозов все это долбанутое безумие, когда я думал, как они со Стрэдлейтером сидят где-то в машине этого толстожопого Эда Бэнки. Стоит подумать про такое – и в окно прыгнуть хочется. Фигня в том, что вы Стрэдлейтера не знаете. А я его знал. Почти все парни в Пенси только *трепались* про то, как они все время девчонок сношают, – вот Экли, например, – а этот Стрэдлейтер и впрямь их сношал. Я лично знал по крайней мере двух, кого он оприходовал. По-честному.

– Экли, а Расскажи мне о своей увлекательной жизни, сынок, – говорю.

– Как насчет свет, нафиг, погасить? Мне утром на мессу вставать.

Я встал и выключил, пусть радуется. Потом снова лег на койку Эли.

– Ты чего – спать будешь на койке Эли? – спрашивает Экли. Само радушие, ух.

– Можно. А можно и нет. Ты не кипишишь.

– Я не *кипишусь*. Только мне жуть как не хочется, если Эли вдруг придет, а тут кто-то...

– Расслабься. Не буду я тут спать. Я не стану злоупотреблять твоим, нафиг, гостеприимством.

Через пару минут он уже храпел, как подорванный. А я все равно просто лежал в темноте и старался не думать про этих Джейн со Стрэдлейтером в этой их, нафиг, машине Эда Бэнки. Только куда деваться? Фигня в том, что я знал, какой у этого Стрэдлейтера метод. Оттого все еще хуже. Мы с ним однажды устроили спаренную свиданку в машине Эда Бэнки, и Стрэдлейтер сидел сзади со своей девкой, а я со своей – впереди. Ну и подходцы у этого парня. Он вот чего делал: он девке своей давай гонять пургу – тихо так, *искренне*, вроде бы он не только очень симпатный парень, но и путёвый, *искренний*. Я чуть не сблевул. Девка его канючит: «Нет – *прошу* тебя. Пожалуйста, не надо. *Прошу* тебя». А этот Стрэдлейтер пуржит себе дальше, искренне, как Авраам Линкольн, – и в конце концов сзади повисает такое неслабое молчание. Сплошной неудобняк, по-честному. Не думаю, что он ту девку тогда оприходовал, но очень к тому, нафиг, близко. *Очень* близко, нафиг.

Лежу я себе и пытаюсь не думать, и слышу, как у нас в комнате этот Стрэдлейтер из тубза вернулся. Сложил свои

захезанные приبلуды и всяко-разно, окно открыл. Очень он у нас свежий воздух любит. Потом, чуть погодя, выключил свет. Даже не стал смотреть, куда я делся.

А на улице еще тоскливей. Даже машин больше не слышно. Мне так одиноко и паскудно сделалось, что даже захотелось разбудить Экли.

– Эй, Экли! – как бы шепчу я, чтоб Стрэдлейтер через шторы не услышал.

А Экли меня не слышит.

– Эй, Экли!

Все равно не слышит. Дрыхнет, как бревно.

– Эй, Экли!

Ну вот тут услышал.

– Да что с тобой за херня такая? – говорит. – Сплю я, елки-палки.

– Слышь. А как в монастырь поступают? – спрашиваю. Я как бы раздумывать начал, не поступить ли. – Надо католиком быть и всяко-разно?

– Само собой, надо быть католиком. Гад, ты меня разбудил, только чтоб со своими тупыми воп...

– Ай, да спи себе дальше. Никуда я не пойду. Мне все равно везет так, что поступлю куда-нибудь, а там монахи неправильные. Дурацкие гады какие-нибудь. Или просто гады.

Только я так сказал, этот Экли на кровати своей аж подскочил, нафиг.

– Слышь, – говорит. – Мне наплевать, что ты обо *мне* го-

воришь или еще чего, но если будешь острить про мою, нафиг, веру...

– Расслабься, – говорю. – Никто про твою, нафиг, веру не острит.

Я встал с койки Эли и пошел к двери. Не хотелось мне больше такого дурагонаства. По пути остановился, взял Экли за руку и крепко так, фуфлово пожал. А он эту руку отдернул.

– Чего за дела? – спрашивает.

– Да никаких дел. Просто хотел сказать тебе спасибо за то, что ты такой, нафиг, сказочный принц, вот и все. – Я это сказал очень искренне. – Ты просто лучше некуда, сынок, – говорю. – Ты в курсе?

– Умник. Тебе по мозгам-то когда-нибудь...

Я даже не стал его дослушивать. Закрыв, нафиг, дверь и вышел в коридор.

Все либо дрыхли без ног, либо шлялись, либо домой на выходные поразъехались, и в коридоре было очень, очень тихо и тоскливо. Под дверью, где жили Хоффман с Лии, валялась пустая коробка из-под зубной пасты «Колинос», и весь коридор до лестницы я пинал ее своим тапком с овчиной. Ну чего, думал я, может, сходить поглядеть, чего этот Мэл Броссар делает? Но тут вдруг передумал. Я ни с того ни с сего решил, что по-честному сделать надо вот чего – убрать-ся, нахер, из Пенси, вот прямо сразу, ночью, и все дела. А не ждать до среды или как-то. Мне просто не хочется тут

больше зависеть. Слишком уж убого и одиноко. Поэтому я вот чего решил – я решил снять номер в нью-йоркской гостинице, какой-нибудь не сильно дорогой и всяко-разно, и до среды не рыпаться. А потом в среду поеду домой – когда отдохну, и мне будет вполне себе шикарно. Я прикинул, что штрики, наверно, письмо этого Тёрмера, где сказано, что меня выперли, не получают, может, до вторника-среды. Мне и домой-то не хотелось возвращаться, пока они это письмо не переварят. Мне вовсе не в жилу там быть, когда они его только *получат*. Штруня у меня сильно в истерику впадает. Хотя, как только переварит до конца, с ней все не так плохо. А кроме того, мне бы каникулы вроде как не повредили. Нервы ни к черту. По-честному.

В общем, так я и решил. Поэтому вернулся к себе, зажег свет, чтоб вещи собрать и всяко-разно. У меня уже, в общем, кое-что было собрано. Этот Стрэдлейтер даже не проснулся. Я закурил и оделся, а потом сложил все в свои два «гладсто-на». Ушло минуты две. Я очень быстро пакуюсь.

На меня при сборах только одно тоску немного навело. Пришлось укладывать новые коньки, что мне штруня прислала, считай, пару дней назад. Оттого и тоска. Я так и видел: штруня заходит в «Сполдингз» и давай продавцу миллион бажбанских вопросов задавать – а меня тут опять из школы выперли. Тут мне по-честному убого и стало. Она не те коньки купила – мне хотелось беговые, а она купила хоккейные, – но мне стало все равно убого. Так почти всегда:

кто бы мне что-нибудь ни дарил, заканчивается убого.

Я сложил все, а потом гроши свои посчитал. Не помню точно, сколько у меня было, но втарен я был как надо. Бабуля неделю назад мне пачку прислала. У меня бабуля есть, так на гроши она не жметя. У нее уже не все дома – она старая, как я не знаю что, – и гроши на деньрож она мне высылает раза по четыре в год. В общем, хоть я и втарен был, но прикинул, что лишние гроши не помешают. Поди угадай. Я поэтому вот чего – я пошел и разбудил Фредерика Вудраффа, которому свою машинку давал. И спросил, сколько он мне за нее даст. Он парень будь здоров богатенький. Но говорит: не знаю. Дескать, ему ее покупать не очень хочется. Но в конце концов все-таки купил. Стоила она где-то девяносто, а он купил за двадцатку. И дулся еще, что я ему спать не даю.

Когда я уже весь собрался, чемоданы и всяко-разно, я немного постоял у лестницы и в последний раз оглядел весь, нафиг, коридор. Я как бы даже ревел. Не знаю, чего ради. Я надел свой красный охотничий кепарь, сдвинул козырек на затылок, как мне нравилось, а потом во весь, нафиг, голос заорал:

– Сладких снов, дебилы!

Точняк всех гадов разбудил на целом этаже. А потом, нахер, свалил оттуда. Какой-то недоумок разбросал по всей лестнице скорлупу от арахиса, и я, нафиг, чуть шею себе не своротил.

Позднѣякъ было вызывать мотор или как-то, поэтому до вокзала я всю дорогу пѣр пехом. Там не очень далеко, но дубак стоял, как я не знаю что, а идти по снегу трудно, и «гладстоны» лупили, нахер, мне по ногам. Но воздух был зашибись. Засада только в том, что от мороза у меня нос болел и под самой верхней губой, куда мне этот Стрэдлейтер впроло. Губу мне прямо по зубам раскатал – будь здоров болело. А вот ушам нормально и тепло. У кепаря были уши, и я их опустил – и надристать, как я выгляжу. Все равно вокруг никого. Все друшляют.

Мне нормально так повезло, когда я добрался до вокзала, потому что поезд был всего через десять минут. Пока ждал, загреб в руку снега и вымыл рожу. Кровищи было еще порядочно.

Обычно мне нравится ездить на поезде, ночью особенно, когда свет горит, а окна такие черные, и кто-нибудь ходит по вагону и продает кофе, бутерброды и журналы. Обычно я покупаю бутер с ветчиной и штуки четыре журнала. Если я еду на поезде ночью, можно даже какой-нибудь тупой рассказ в журнале почитать и не сблѣвнуть. Ну, короче. В рассказах этих обычно целая куча фуфловых парней по имени Дэвид, у которых щека со щекой целуются, и целая толпа фуфловых девиц по имени Линда или Марша, которые всем этим Дэви-

дам трубки, нафиг, подкуривают. Обычно в поезде ночью я даже могу такой паршивый рассказ почитать. Только сейчас все было не так. Мне просто не хотелось. Я вроде как сидел и ничего не делал. Только снял кепарь и сунул в карман.

Вдруг в Трентоне заходит эта дамочка и садится рядом. Чуть ли не весь вагон пустой – все-таки поздняя и всяко-разно, и она берет и садится рядом, а не на пустое место: просто у нее с собой такой огромный баул, а я сижу впереди. Баул она уместила в проходе, чтоб контролер или еще кто перецепился. И еще на ней такие орхидеи, будто она прямо с бала или как-то. Лет сорок – сорок пять, наверно, но очень ничего себе. От теток я прямо подышаю. По-честному. Нет, я ни озабоченный, ничего, хоть сам вполне себе ничего. В смысле, они мне просто нравятся. Всегда свои, нафиг, баулы посреди прохода оставляют.

Ладно, в общем, сидим мы, как вдруг она говорит:

– Извините, это у вас наклейка школы Пенси? – Она как раз на мои чемоданы глядела, на полке.

– Да, ее, – отвечаю. Тут она угадала. У меня на одном «гладстоне» наклейка Пенси, точно. Фофанство, но что уж теперь.

– О, вы учитесь в Пенси? – спрашивает. Голос ничего такой. Путёвый, как в телефоне. Надо бы ей с собой, нафиг, телефон таскать.

– Да, в ней, – говорю.

– О, как это славно! Тогда, может, вы и сына моего знаете

– Эрнест Морроу? Он тоже учится в Пенси.

– Знаю. Он у нас в классе.

Сынок ее – вне всяких сомнений величайший гад, что учился в Пенси за всю захезанную историю школы. Всегда по коридору ходит после душа и мокрым этим полотенцем своим всем по жопам хлещет. Такой вот парняга.

– О, как мило! – говорит дамочка. Но не фофански говорит – нормально так и всяко-разно. – Надо будет сказать Эрнесту, что мы познакомились, – говорит. – Можно спросить, как вас зовут, дорогой мой?

– Рудольф Шмидт, – отвечаю. Не в жилу мне всю свою биографию излагать. А Рудольф Шмидт – это у нас комендант в общежитии.

– А вам нравится Пенси? – спрашивает она.

– Пенси? Да ничего так. Не *рай*, конечно, чего там, но не хуже прочих. Есть вполне себе добросовестные преподаватели.

– Эрнест ее просто обожает.

– Я знаю, – говорю. А потом давай обычную тупость помаленьку пулять. – Он очень хорошо приспосабливается. По-честному. Ну, то есть хорошо вливается.

– Вы так считаете? – спрашивает она. Вроде заинтересовалась, как я не знаю что.

– Эрнест? Ну еще бы, – говорю. И тут она перчатки стала снимать. Ух, меня от брюликов чуть не затошнило.

– Я ноготь сломала, когда из такси выходила, – говорит. Посмотрела на меня и вроде как улыбнулась. Неслабая у нее

такая улыбка. По-честному путёвая. Люди же вообще почти не улыбаются или лыбятся паршиво. – Мы с отцом Эрнеста иногда очень за него переживаем, – говорит. – Иногда у нас такое чувство, что он не очень хорошо умеет общаться.

– Это в каком смысле?

– Ну, он очень чувствительный мальчик. И ему не всегда хорошо удастся общаться с другими ребятами. Наверное, все воспринимает немного серьезней, чем следует в его возрасте.

Чувствительный. Я чуть не сдох. Этот тип Морроу примерно такой же чувствительный, как стульчак.

Я хорошенько на нее посмотрел. Вроде не бажбанка на вид. Может, и соображает, нафиг, какого гада родила. Но тут не всегда определишь – у чужой штруни, в смысле. Штруни всегда немного того. Но такая фигня: штруня Морроу мне понравилась. Путёвая.

– Сигарету не желаете? – спрашиваю.

Она огляделась.

– Мне кажется, Рудольф, в этом вагоне не курят, – говорит. Рудольф, ага. Я чуть не сдох.

– Да ничего. Можно покурить, пока орать не начнут, – говорю. Она взяла у меня сигу, и я ей дал подкурить.

Нормально она выглядела с сигой. Затягивалась и всяко-разно, но не *жадно*, как почти все тетки в ее возрасте курят. Сильно обаятельная. Да и симпотная тоже сильно, если хотите знать.

Она как бы так уматно смотрела на меня.

– Я могу ошибаться, конечно, только мне кажется, что у вас кровь носом идет, – вдруг говорит ни с того ни с сего.

Я кивнул и вытащил платок.

– Снежком попали, – говорю. – Почти ледышка, знаете такие. – Может, я б и рассказал ей, что по-честному вышло, да только это долго. Но мне она понравилась. Я даже вроде как пожалел, что назвался ей Рудольфом Шмидтом. – Старина Эрни, – говорю. – Один из самых популярных парней в Пенси. Знаете, да?

– Нет, не знала.

Я кивнул.

– По-честному все как бы долго сперва его раскусывали. Он же забавный такой парень. *Странный* по-всякому, понимаете? Как вот я с ним познакомился. Я его когда увидел, думаю: вот сноб какой. Так и подумал. А он – нет. У него просто характер такой оригинальный, только через некоторое время привыкаешь.

Эта миссис Морроу ничего не сказала, но ух, вы бы ее видели. Она аж к месту приросла вся. Чью угодно штруню возьмите – им же только дай послушать про то, какой ферт у них сынок.

И тут я уже *по-честному* погнал туфту.

– Он вам про выборы рассказывал? – спрашиваю. – В классе?

Она головой покачала. Я ее просто как бы в транс ввел,

точно.

— В общем, мы с парнями хотели, чтобы старина Эрни был старостой класса. Ну то есть единогласно выбрали. В смысле, он только один такой точно бы справился, — говорю; ух как же я гнал. — А выбрали этого другого пацана, Гарри Фенсера. И *почему* его выбрали — одна только и простая причина, — потому что Эрни нам не дал себя выдвинуть. Потому что он такой, к черту, весь застенчивый и скромный, и всяко-разно. *Отказался...* Ух какой стеснительный. Вы бы поговорили с ним, что так нельзя, а? — Я посмотрел на нее. — Он вам об этом что, не рассказывал?

— Нет, не рассказывал.

Я кивнул:

— Вот вам Эрни. Не скажет ни о чем. У него один недостаток — слишком робкий и скромный. Вы б повлияли на него, чтоб хоть изредка расслаблялся.

Тут в вагон контролер зашел, билет у этой миссис Морроу проверить, и я трепаться поэтому бросил. Но все равно хорошо, что потрепался. Ведь такие, как Морроу, кто мокрым полотенцем по жопе хлещет — специально, чтоб *больно* было, — они же крысы не только в детстве. Они на всю жизнь крысы. Но спорим, после этой моей туфты миссис Морроу станет считать его таким робким и скромным мальчиком, который не дал нам выдвинуть его старостой класса. Вполне. Поди угадай. Штруни в такой фигуре не сильно петрят.

— А коктейля не желаете? — спрашиваю. Мне бы не поме-

шал. – Можем в бар сходить. Ничего?

– Батюшки, а вам уже наливают? – спрашивает. Но не свысока, а так. Потому что слишком обаятельная и всяко-разно, такие нос не задирают.

– Ну, в общем, не совсем, но иногда получается, потому что я длинный, – говорю. – И седых волос полно. – Я вбок повернулся, седину ей показал. Она чуть не офигела вконец. – Давайте, пошли, чего вы? – говорю. С ней было б нефигово сходить.

– Думаю, не стоит. Но все равно, дорогой мой, большое вам спасибо, – говорит. – Да и вагон с баром все равно скорее всего закрылся. Уже довольно поздно, знаете? – Это она точняк. Я и забыл, сколько времени.

Потом она глядит на меня и спрашивает такое, про что я и боялся, что спросит:

– Эрнест написал, что будет дома в среду, и в *среду* же рождественские каникулы начинаются, – говорит. – Надеюсь, вас не вызвали заранее, потому что дома кто-то болеет. – Ее такое по-честному вроде бы расстроило. Не просто нос в чужие дела сует, сразу видно.

– Нет, дома все хорошо, – говорю. – Это со мной. Мне надо эту операцию делать.

– Ох! *Как* мне жаль, – говорит. И по виду – точняк, жаль. Я тоже сразу пожалел, что ляпнул, да поздно уже.

– Не очень серьезная. У меня на мозге такая махонькая опухоль.

– Ох, *господи!* – Она даже рот ладошкой прикрыла и всяко-разно.

– Ай, да все нормально будет! Она почти что снаружи. И очень маленькая. Ее за две минуты уберут.

Тут я стал читать расписание, которое в кармане у меня лежало. Чтоб не врать больше. Я как заведусь, так часами могу, если покатит. Без балды. *Часами.*

Потом мы почти не разговаривали. Она открыла «Вог», который у нее с собой был, а я смотрел в окно. Вышла она в Ньюарке. Пожелала мне всего самого хорошего с операцией и всяко-разно. И все время Рудольфом называла. Потом пригласила на лето погостить у Эрни в Глостере, Массачусетс. Говорит, дом у них прямо на берегу стоит, есть теннисный корт и всяко-разно, а я только сказал: спасибо, но летом я с бабушкой еду в Южную Америку. Это я загнул так загнул, потому что бабуля моя из *дома*-то почти не выходит, разве что на «матинэ» какие-нибудь, нафиг. Но и за все гроши на свете я б к этой падле Морроу в гости не поехал, даже если б нужда прибила.

9

Я вышел на Пенсильванском вокзале и первым делом вот чего – я залез в эту телефонную будку. Мне приспичило кому-нибудь звякнуть. Чемоданы я поставил рядом с будкой, чтобы видно было, а вот зашел – и так и не придумал, ко-

му звонить. Брательник мой Д. Б. – в Голливуде. Сестренка Фиби ложится часов в девять – *ей* позвонить я тоже не могу. Ей-то наплевать, если я ее разбужу, засада в том, что трубку не она снимет. Снимут штрики. Так не пойдет. Потом я решил было позвонить штруне Джейн Гэллахер и спросить, начались ли у Джейн каникулы, но это как-то не в жилу. А кроме того – вполне себе поздняк уже. Затем подумал, не позвонить ли мне той девке, с которой я раньше нормально так ходил, Сэлли Хейз, потому что у нее каникулы уже точно так начались: она мне написала такое длинное фуфловое письмо, приглашала в Сочельник помочь ей украсить елку и всяко-разно, – только я боялся, что трубку снимет ее штруня. Они с моей знакомы, и я так и видел, как она сломя, нафиг, голову несется к телефону, чтобы сообщить моей, что я в Нью-Йорке. Кроме того, мне совсем не в струю было трындеть с этой миссис Хейз по телефону. Она как-то сказала Сэлли, что я необузданный. Необузданный, говорит, и в жизни курс не проложил. Потом я хотел позвонить тому парню из Вутона, когда я туда ходил, Карлу Люсу, только мне он не очень в жилу. В общем, не стал я никому звонить. Вышел из будки минут через двадцать, подобрал чемоданы, пошел к этому тоннелю, где моторы, и взял себе тачку.

Я такой, нафиг, рассеянный, что сказал водиле свой обычный адрес, по привычке и всяко-разно – ну то есть напрочь забыл, что собирался кости кинуть в гостинице на пару дней и дома не появляться, пока не начнутся каникулы. Даже не

подумал, пока мы полпарка не проехали. Потом говорю:

– Послушайте, а вы не могли бы развернуться, когда получится? Я вам не тот адрес дал. Мне бы обратно в центр.

Водила оказался вроде как такой тертый.

– Тут не могу, кореш. Тут одностороннее. Теперь надо до самой Девяноздой ехать.

Мне с ним собачиться не хотелось.

– Ладно, – говорю. И тут вдруг вспомнил кое-что. – Эй, послушайте, – говорю. – Знаете, там в пруду такие утки есть, возле самой Южной Централ-Парк? Маленький такой пруд. Вы, случайно, не знаете, куда они деваются, утки то есть, когда там все замерзает? Может, знаете случайно, нет? – Я понимал, что случайность такая – одна на мильон.

Он разворачивается и пялится на меня, как на чеканутого.

– Ты чё эт, корешок, удумал? – спрашивает. – Шутки со мной шутить?

– *Нет*, мне просто интересно, все дела.

Он больше ничего не стал говорить, поэтому я тоже заткнулся. Пока из парка не выехали на 90-й. Тогда только он спрашивает:

– Ладно, корешок. Куда?

– Ну, в общем, фигня в том, что я не хочу в гостиницы на Ист-Сайде, там знакомых можно встретить. Я путешествую инкогнито, – говорю я. Терпеть не могу такого фофанства – «путешествую инкогнито». Но если я с фофаном, то и сам веду себя по-фофански. – А вы, случайно, не знаете, какая

банда сейчас в «Тафте» или «Нью-Йоркере» играет?

– Без понятия, кореш.

– Что ж... Тогда везите меня в «Эдмонт», – говорю. – Не против, если мы по пути остановимся и вы со мною выпьете по коктейлю? Угощаю. Я при грошах.

– Не могу, кореш. Извини. – Путёво с ним так. Неслабый типус.

Мы доехали до «Эдмонта», и я заселился. В моторе я надел свой красный охотничий кепарь – а просто от нефиг делать, – но перед заселением снял. Не в жилу там выглядеть ушибком или как-то. Уржаться можно. Я даже не *знал* тогда, что в гостинице этой, нафиг, полно извращенцев и дебилов. На каждом шагу ушибки.

Мне дали такой захезанный номер, в окно смотреть не на что, кроме другой стороны гостиницы. Да мне, в общем, наплевать. Все равно слишком тоскливо, даже морочиться неохота, какой у меня там вид из окна. Коридорный, который меня в номер провожал, – такой древний дед, лет шестьдесят пять. От него тоски больше, чем от номера. Такие лысые бывают, на голове у себя зачесывают все с боков, чтоб лысину прикрыть. Уж лучше я лысым буду, чем так. По-любому шикарная работа для парня лет шестидесяти пяти. Таскать всем чемоданы и ждать чаевых. Наверное, не слишком котелок варит или как-то, но все равно жуть.

Он ушел, а я немного посмотрел в окно, куртку не снимал, никак. Все равно больше делать нечего. А на другой стороне

гостиницы удивительные дела творились. Там даже занавески не задернули. Я увидел одного мужика: седой, осанистый такой – в одних трусах, так вы не поверите, чего он делал. Во-первых, чемодан свой на кровать положил. Потом вытащил из него бабские тряпки и все их надел. Настоящие бабские – шелковые чулки, туфли на шпильках, бюстгальтер и такой корсет, у которых завязки болтаются и всяко-разно. А потом натягивает такое очень узкое черное вечернее платье. Ей-богу. А потом начал по комнате расхаживать, мелкими такими шажочками, как баба, курить сигу и в зеркало смотреться. Совсем один, прикиньте. Ну, если только в сортире никого – этого мне было не видать. Потом в окне чуть ли не прямо над ним вижу: мужик и баба водой друг в друга плюются. Может, виски с содовой, конечно, а не вода – я не разглядел, чего там у них в стаканах. В общем, сначала он отхлебывает и в *нее* брызжется, потом она в *него* – по очереди, ёксель-моксель. Это надо было видеть. И все время ржут как ненормальные, будто смешнее ничего на свете нет. Без балды, целая гостиница извращенцев. Я, наверно, тут один такой нормальный гад, и это еще слабо сказано. Я, нафиг, чуть этому Стрэдлейтеру телеграмму не послал, чтоб сразу на поезд садился и дул в Нью-Йорк. Он бы в этой гостинице за главного был.

Засада только в том, что на всю эту парашу смотреть – вроде как завораживает, даже если не хочешь. Например, та девка, которой на морду водой плевали, – она вполне себе

такая ничего. Я в смысле, что вот у меня в чем засада. В *уме* у себя я, наверно, такой половой маньяк, каких вы и не видывали. Иногда в голову лезет *самое* что ни есть хезалово, которое я б не против был, если бы случай выпал. Я даже понимаю, как это может быть уматно, хезалово такое, и если вы оба там как бы накирялись и всяко-разно, взять девку и плевать ей в рожу водой или как-то. Но фигня в том, что мне это не *нравится*. Параша это, если вдуматься. То есть, если девка вам по-честному не нравится, вообще не надо с ней дурака валять, а если *нравится*, то и рожа ее должна нравиться, а если рожа нравится, то не надо ж хезать на нее, с понтом, водой плеваться. По-честному фигово, что такое хезалово иногда может быть уматно. Девки тоже не сильно помогают, когда стараешься *слишком* уж не хезать, когда пытаешься не испортить ничего по-честному хорошего. Я одну такую знал пару лет назад, так она еще хезаней меня была. Ух, вот хезушница! Хотя какое-то время с ней было уматно – ну, как с хезушницами бывает. Про секс я, если по-честному, не очень секу. Там никогда не знаешь, *что*, нахер, делать. Я себе все время такие правила про секс составляю, а потом тут же их нарушаю. В прошлом году придумал правило, что с девками больше дурака валять не буду, от которых где-то внутри такой геморрой. Но я его нарушил на той же неделе, что и придумал, – в тот же *вечер* вообще-то. Всю ночь обжимался с жуткой фуфлершей по имени Энн-Луиз Шерман. Нет, в сексе я просто ни шиша не секу. Чесслово.

И вот пока я там стоял, меня мысль одна занимала: не звякнуть ли этой Джейн – в смысле, позвонить ей по междоумороду в Б.М., куда она ходит, а штруне ее не звонить, чтобы выяснять, когда она домой приезжает. Ученикам среди ночи звонить не полагается, но я все прикинул. Кто снимет трубку, я ему скажу, что я ее дядя. Скажу, что тетушку ее только что сбила машина и я с Джейн должен поговорить немедленно. И получилось бы. Звонить я не стал только потому, что как-то не в жилу. А если не в жилу, такая фигня не выходит.

Немного погодя я сел в кресло и выкурил пару сиг. Стоял у меня будь здоров. Ничего не попишешь. Тут вдруг до меня дошло. Я вытащил лопатник и стал искать в нем тот адрес, что мне дал парень, с которым я прошлым летом на балехе познакомился, из Принстона. Потом нашел в конце концов. Он от лопатника стал весь такого уматного цвета, но все равно прочесть можно. Адрес был одной девки – не совсем шлюха, никак, но не против палки-другой время от времени, как мне этот парень из Принстона сказал. Он однажды привел ее на танцы в Принстоне, а его за это едва не вышибли. Раньше она в варьете стриптизкой работала или как-то. В общем, ладно, я подошел к телефону и ей звякнул. Звали ее Фейт Кэвендиш, и она жила в гостинице «Герб Стэнфорда» на углу 65-й и Бродуэя. Помойка, не иначе.

Я какое-то время думал, что ее нет дома или чего-то. Никто не отвечает, и все. Потом наконец кто-то снял трубку.

– Алло? – говорю. Стараюсь басом таким, чтоб возраст

не заподозрила, ничего. У меня все равно голос низкий будь здоров.

– Алло, – отвечает этот женский голос. Не очень дружелюбно к тому же.

– Это мисс Фейт Кэвендиш?

– Это *кто*? – спрашивает. – Кто мне звонит в такое безумное, черт бы вас побрал, время?

Тут я уже чуточку зассал.

– Ну, я в курсе, что уже довольно поздно, – говорю очень взрослым таким голосом и всяко-разно. – Надеюсь, вы меня простите, но мне весьма не терпелось с вами связаться. – Обходительно, как я не знаю что. По-честному.

– *Кто* это? – говорит она.

– Ну, вы меня не знаете, но я друг Эдди Бёрдселла. Он говорил, что, если я окажусь в городе, нам следует встретиться, выпить коктейль-другой.

– *Кого? Чей* вы друг? – Ух какая она тигрица по телефону. Чуть, нафиг, не орала на меня.

– Эдмунда Бёрдселла. Эдди Бёрдселла, – говорю. Я не помнил, Эдмундом его звали или Эдвардом. Я с ним только раз встречался, на этой дурацкой, нафиг, балехе.

– Я никого с таким именем не знаю, дядя. И если вы думаете, будто мне *нравится*, когда меня будят среди...

– Эдди Бёрдселл? – говорю. – Из Принстона.

Понятно было, что она имя в голове крутит и всяко-разно.

– Бёрдселл, Бёрдселл... из Принстона... Из колледжа

Принстон?

– Точно, – говорю.

– Так вы из колледжа Принстон?

– Ну, примерно.

– А-а... И *как* там Эдди? – спрашивает. – Это, конечно, странное время для звонков. Господи боже мой.

– Он прекрасно. Просил передать вам привет.

– Ну что ж, спасибо. И от *меня* ему привет, – отвечает она. – Роскошный он парень. Что он сейчас поделявает? – Тут она вдруг стала вся такая дружелюбная, как не знаю что.

– Ой, ну всяко. То же самое, – говорю. Откуда, нахер, *мне* знать, что он сейчас поделявает? Я с ним вообще еле знаком. Даже не знаю, по-прежнему ли он в Принстоне. – Слушайте, – говорю, – а вам не было бы интересно со мной где-нибудь встретиться, коктейль выпить?

– А вы, случайно, не в курсе, сколько сейчас *времени*? – спрашивает она. – И как вас, кстати, зовут, могу я осведомиться? – У нее ни с того ни с сего английский выговор прорезался. – Голос у вас несколько такой молодежавый.

Я рассмеялся.

– Спасибо за комплимент, – говорю галантно, как не знаю что. – Меня зовут Холден Колфилд. – Надо было какое-нибудь дутое имя сказать, только я об этом не подумал.

– В общем, послушайте, мистер Коффл, у меня нет привычки назначать встречи посреди ночи. Я девушка рабочая.

– Завтра воскресенье, – сообщаю я.

– Ну и все равно. Мне выспаться надо, чтоб хорошо выглядеть. Сами понимаете.

– Я подумал, мы с вами всего по коктейлю могли бы выпить. Не так уж и поздно.

– Ну... Вы очень милы, – говорит она. – А откуда вы звоните? Где вы сейчас вообще?

– Я? Я в телефонной будке.

– А, – говорит она. Затем наступила такая долгая, долгая пауза. – В общем, мне бы ужасно хотелось с вами как-нибудь встретиться, мистер Коффл. Голос у вас очень привлекательный. Похоже, вы и сами симпатичный. Но все *равно* уже поздно.

– Я мог бы к вам зайти.

– Ну, обычно я бы сказала – здорово. То есть было бы очень неплохо, если б вы ко мне заглянули на коктейль, но моя соседка по комнате сейчас болеет. Всю ночь глаз сомкнуть не может. И вот в эту самую минуту она их как раз сомкнула и всякое такое. Ну то есть.

– Ох. Какая жалость.

– А где вы остановились? Может, мы бы завтра с вами коктейль выпили.

– Завтра у меня не получится, – говорю. – Выйдет только сегодня. – Вот я бажбан. Не надо было так говорить.

– Ой. Ну что ж, мне ужасно жалко.

– Я от вас передам Эдди привет.

– Правда? Надеюсь, вам понравится в Нью-Йорке. Тут

славно.

– Я знаю. Спасибо. Спокойной ночи, – говорю. Потом повесил трубку.

Ух *как* я напортачил. Надо было хоть насчет коктейля договориться или как-то.

10

Все равно было еще рано будь здоров. Уж не знаю сколько, но не очень поздно. Вот я ложиться спать, если даже еще не устал, просто ненавижу – как мало что. Поэтому я открыл чемоданы, вытащил чистую рубашку, потом сходил в ванную, помылся и переоделся. Я вот чего думал – я думал, схожу вниз и посмотрю, чего там, нахер, творится в «Лавандовой зале». У них там ночной клуб есть в гостинице, «Лавандовая зала» называется.

Но пока я менял рубашку, я, нафиг, чуть сестренке Фиби не звякнул. Очень зашибись было бы с ней поболтать. Хоть один разумный человек и всяко-разно. Но я не мог рисковать и ей звякать – она ж еще маленькая и уже спит, и явно не возле телефона. Думал, может, повесить трубку, если штрики ответят, но тоже фиг бы вышло. Они поймут, что это я. Штруня всегда понимает. Она телепат. Но вот потрындеть немножко с Фиби – это было б запросто.

Вы бы ее видели. Вам в жизни не попадалось малявки такой симпотной и такой умной. По-честному котелок очень

варит. В смысле, как в школу пошла, так на отлично только и учится. Вообще-то я один такой тупой в семье. Брательник мой Д. Б. – писатель и всяко-разно, а братец Олли, который умер, я вам рассказывал, – он вообще был гений. Я только один по-честному тупой. Но видели б вы эту Фиби. У нее такие волосы как бы рыжие, немного на Олли смахивают, а летом – очень короткие. Летом она затыкает их за уши. И ушки у нее нормальные, симпатные. Хотя зимой волосы носит длинные будь здоров. Иногда штруня их заплетает, а иногда нет. Но ничего так себе смотрится. Ей всего десять. Вполне тощая, как я, только путёво такая тощая. Роллерски тощая. Однажды я на нее в окно смотрел, когда она в парк шла через Пятую авеню, и вот она такая – роллерски тощая. Вам бы она понравилась. В смысле, Фиби такой что-нибудь скажешь, и она точняк поймет, чего ты ей пуржишь. В смысле, ее даже можно с собой куда-нибудь брать. Возьмете ее на паршивое кино, к примеру, так она сразу поймет, что кино паршивое. Поведете в кино ничего так себе – поймет, что оно ничего кино. Мы с Д. Б. водили ее на это французское, «Жену булочника», в нем Рэмю еще играет¹³. Она чуть не сдохла. А любимое у нее – «39 ступеней» с Робертом Донатом¹⁴. Весь,

¹³ «Жена булочника» (1938) – комедия французского режиссера Марселя Паньоля с французским актером Рэмю (Жюль-Огюст Мюрэр, 1883–1946) в главной роли.

¹⁴ «39 ступеней» (1935) – фильм англо-американского режиссера Алфреда Хичкока по одноименному приключенческому роману шотландского писателя Джона Букэна. В главной роли снялся английский актер Фридрих Роберт Донат

нафиг, фильм наизусть знает, потому что я ее смотреть водил раз десять. Когда этот Донат появляется на шотландской ферме, например, когда от фараонов убегает и всяко-разно, Фиби прямо в зале выдает громко – точно когда шотландец в картине спрашивает: «А селедку едите?» Все базары там она знает наизусть. А когда этот профессор в картине, который на самом деле немецкий шпион, показывает Роберту Донату мизинец, на котором не хватает двух фаланг, Фиби такая его опережает – в темноте сует *свой* мизинец мне прямо под нос. Путёвая она. Вам бы понравилась. Засада только в том, что иногда чересчур мамсится. Слишком возбужденная для малявки. По-честному. И еще вот чего делает – она все время книжки пишет. Только никогда не дописывает. Все про какую-то пацанку по имени Хэзел Уэзерфилд – только Фиби такая все время пишет «Хэзл». Эта Хэзл Уэзерфилд – девчонка-детектив. Вроде как сирота, но везде ее предок все время возникает. Предок ее – всегда «высокий симпатичный джентльмен лет двадцати». Ну вообще. Во Фиби дает. Чес-слово, она бы вам понравилась. Даже совсем еще кроха была – и у нее котелок варил. Когда она была совсем кроха, мы с Олли брали ее в парк, особенно по воскресеньям. У Олли такой парусник еще был, братец с ним возился по воскресеньям, и мы Фиби с собой брали. Она такая белые перчаточки надевала и шла прямо между нами, как леди и всяко-разно. А когда мы с Олли о чем-нибудь вообще разговаривали, Фи-

би такая нас слушала. Иногда забудешь, что она тут рядом – ну все-таки малявка еще совсем, – а она *сама* возьмет и на-помнит. Перебивала нас все время. Пихнет Олли или меня и говорит: «*Кто?* Кто это сказал? Бобби или дама?» Мы ей скажем, кто сказал, а она говорит: «А-а», – и дальше давай слушать и всяко-разно. Олли тоже с нее помирал. В смысле – она ему тоже нравилась. Теперь ей десять, и уже, в общем, не совсем малявка, но с нее все по-прежнему помирают – ну, у кого котелок варит хоть немного.

В общем, с такими, как она, всегда в жилу по телефону потрындеть. Но я слишком боялся, что трубку снимут штрики и тогда поймут, что я в Нью-Йорке, что меня из Пенси выперли и всяко-разно. Поэтому я просто рубашку дондевал. Потом весь так собрался и спустился на лифте в вестибюль, поглядеть, чего там такое.

В вестибюле, считай, никого и не было, кроме нескольких сутенерского вида типовов да пары шлюшистого вида блондинок. Но банду из «Лавандовой залы» слышно, поэтому туда я и двинул. Толпы немного, только мне все равно паршивый столик дали – сильно сзади. Надо было зеленым перед носом метрдотеля помахать. В Нью-Йорке ух гроши дело, нафиг, двигают – я не шучу.

Банда была гнойная. Бадди Сингер. Сквозняки, но не путёвые сквозняки – фофаны. К тому же мало народу моего возраста. Вообще-то никого моего возраста там и не было. В основном старичье, пижонистое такое, со своими девка-

ми. Кроме столика рядом. За столиком рядом сидели эти три девки, лет по тридцать где-то. И все три – уродины будь здоров, и на всех такие шляпки, что сразу просекаешь – не местные, хотя одна, блондинка, вроде ничего. Вроде миленькая такая даже, блондинка эта, и я только стал на нее косяка уже давить, как возник официант. Я заказал скотч с содовой и велел не смешивать – быстро причем сказал, как не знаю что, потому что если начнешь бекать и мекать, сразу решат, что тебе еще нет двадцати одного, и никакой опьяняющей жидкости не продадут. Но с ним все равно ни шиша не вышло.

– Простите, сэр, – говорит, – но имеется ли у вас какое-нибудь подтверждение совершеннолетия? Водительские права хотя бы?

Я на него этак холодно глянул, будто он меня оскорбил, как не знаю что, и спрашиваю:

– А что, похоже, что мне еще нет двадцати одного?

– Простите, сэр, но у нас полагается...

– Ладно, ладно, – говорю. Потому что прикинул: ну и черт с ним. – Тащите колу. – Он уже пошел прочь, а я его назад позвал: – А рому туда можете плеснуть или еще чего? – спрашиваю. Очень нормально так спрашиваю и всяко-разно. – Я же не могу сидеть в таком фофанском месте и *трезвый* намертво. Набодяжьте туда чутка рому, что ли?

– Мне очень жаль, сэр... – завел он и по-быстрому драпанул. Но я не стал на него особо зуб точить. Их с работы вышибут, если прочухают, что они малолеткам продают. А

я, нафиг, малолетка.

Стал я на трех кочережек за соседним столиком опять косяка давить. Ну то есть на блондинку. Остальные две – это с большой голодухи. Но не дубово эдак давил. Просто окидывал всех троих таким очень невозмутимым взглядом и всяко-разно. А они чего, вся троица эта – они хихикать давай, как дебилы. Наверно, решили, что я молодой еще кого-нибудь клеить. Тут я разозлился, как не знаю что, – я на них что, *жениться* собираюсь или как? Надо было отлуп им дать сразу, как они так сделали, только засада в том, что мне по-честному захотелось танцевать. Мне очень танцевать в жилу, ну иногда, и вот тогда как раз в струю оказалось. Поэтому ни с того ни с сего я как бы к ним нагибаюсь и говорю:

– Девушки, а никто из вас не хотел бы потанцевать? – Ни дубово спросил, ничего. Очень, на самом деле, галантно. Только они, нахер, решили, что это тоже отпадная шуточка. И захихикали еще пуще. Без балды – три натуральные дебилки. – Давайте, – говорю, – потанцую каждую по очереди. Нормально? Что скажете? Пошли! – Мне по-честному хотелось танцевать.

Наконец блондинка встала и пошла со мной танцевать, потому что видно же, разговаривал-то я только с *ней*, – и мы вышли на пятак. У двух оставшихся чучел чуть родимчик не случился. Мне, наверно, сильно приспичило, раз я вообще на них позарился.

Но оно того стоило. Блондинка танцевала будь здоров.

Мне мало с кем так танцевать доводилось. Без балды: иногда очень тупые девки на пятаке просто сшибают с ног. А берешь какую-нибудь умницу, и она пытается *тебя* по пятаку водить, а то и так паршиво танцует, что лучше всего окопаться за столиком и с ней просто надраться.

– Ну вы и танцуете, – говорю я блондинке. – Вам надо этим зарабатывать. Я не шучу. Я однажды танцевал с профессионалкой, так вы – в два раза лучше. Слыхали когда-нибудь про Марко и Миранду?

– Чего? – говорит. Она меня даже не слушала. Только ози-ралась.

– Я говорю, Марко и Миранду знаете?

– Не слыхала. Нет. Не знаю.

– Так вот, они танцуют, она танцовщица. Вообще-то она не фонтан. Делает все, что положено, но все равно не фонтан. Знаете, когда девушка по-честному неслабо танцует?

– Чего вы там? – говорит. Она меня вообще даже не слушала. Ее все вокруг отвлекало.

– Я сказал, знаете, когда девушка по-честному неслабо танцует?

– Не-а.

– Ну... вот моя рука у вас на спине. И если я думаю, что у меня под рукой ничего нет – ни поппа, ни спины, ни ног, *ничего*, – вот тогда девушка по-честному танцует неслабо.

Только она меня не слушала. Поэтому и я перестал на нее внимание обращать. Мы просто танцевали. Ух как эта баж-

банка давала копоты. Бадди Сингер и его вонючая банда лабали «Такое просто бывает»¹⁵, но даже они испортить ничего не могли. Роскошная песня. Я не стал никаких финтов выделять, пока мы танцевали, – терпеть не могу, когда парень на пятаке пижонски финтит, – но телепал ее за собой прилично, и она от меня не отлипала. А самое смешное – я думал, ей тоже нравится, пока она вдруг не взяла и тупо не ляпнула:

– Мы с подружками вчера вечером видели Питера Лорри¹⁶, – говорит. – Киноактера. Лично. Он газету покупал. Такой *милашка*.

– Вам повезло, – отвечаю. – Вам очень повезло. Понимаете, да? – Вот дебилка. Но танцует – закачаешься. Я не смог сдержаться, взял и чмокнул ее прямо в этот дебильный кочан – ну, знаете, где у них пробор и всяко-разно. А она разозлилась.

– Эй! Что за дела?

– Ничего. Никаких дел. Вы просто здорово танцуете, – говорю. – У меня младшая сестренка есть, всего, нафиг, в четвертом классе. И вы так же здоровски умеете, как она, а она танцует лучше всех, и живых, идохлых.

– Вы за языком своим следите, если не возражаете?

¹⁵ «Такое просто бывает» (1935) – популярная песня американского композитора и автора песен Коула Портера (1891–1964) из мюзикла «Торжество».

¹⁶ Питер Лорри (Ласло, или Ладислав Лёвенштейн, 1904–1964) – американский киноактер венгерского (словацкого) происхождения.

Ну и дамочка, ух. Прямо *королева*, ёксель-моксель.

– А вы сами все откуда? – спрашиваю.

Только она не ответила. Озиралась так по-деловому – наверно, ждала, что сейчас этот Питер Лорри где-нибудь всплывет.

– Вы откуда, девушки? – снова спрашиваю.

– Чего? – отвечает.

– Откуда вы, девушки? Не говорите, если не в жилу. Я ж не хочу, чтоб вы напрягались.

– Из Сиэтла, Вашингтон, – говорит. С понтом, большой добряк мне сделала.

– Вы хорошо беседу поддерживаете, – говорю ей. – Знаете, да?

– Чего?

Ну ее нафиг. Все равно ни шиша не петрит.

– А вы не против джиттербаг забалачить по чуть-чуть, если быструю слабают? Не фифанский такой, не джамп или как-то – путёвый джиттербаг, влегкую? А то все садятся, если быструю лабают, кроме дедов да жириков, и у нас будет куча места. Как насчет?

– Мне это несущественно, – говорит. – Эй, а тебе сколько лет вообще?

Тут я почему-то озверел.

– Ох господи, – говорю. – Только портить все не надо, а? Двенадцать, ёксель-моксель. Я крупный для своих лет.

– Слушай. Я ж тебе уже сказала. Мне такие выражения

не нравятся, – говорит. – Если ты так выражаться будешь, я пойду сяду к подружкам, ага?

Я кинулся извиняться как ненормальный, потому что банда как раз залабала быстрюю. И девка эта стала со мной джиттербажить – но легко так очень и нормально, не фофански. У нее по-честному получалось. Чуть тронешь – и пошла. И когда вертелась, у нее хорошенькая эта попка ее вихлялась так путёво. Она меня сразу этим вырубил. Без балды. Когда мы сели на место, я в нее уже чуть было не втрескался. Так с девками и бывает. Как сделают что-нибудь симпатное, даже если там и смотреть-то не на что, или если какие-нибудь дуры, ты в них чуть не втрескиваешься, а потом уж вовсе не соображаешь, нахер, куда попал. Девчонки. Господи ты боже мой. С катушек слетаешь. По-честному.

Они меня к себе за столик не позвали – в основном потому, что не шарят ни в чем, – только я все равно сел. Блондинку, с которой я танцевал, звали Бернис как-то – Крабс или Крэбс. Двух уродин – Марти и Лаверн. Я им сказал, что меня зовут Джим Стил, – просто так, нахер, нипочему. Затем попробовал с ними поговорить чутка по-умному, но это было, считай, невозможно. Им руки надо было выкручивать. И не скажешь, кто из них самая дура. При этом вся троица то и дело, нафиг, озиралась, будто рассчитывала, что в зал сейчас влетит целая стая, нафиг, кинозвезд. Наверно, думали, что все кинозвезды, когда приезжают в Нью-Йорк, непременно ошиваются в «Лавандовой зале», а не в клубе «Аист», не в

«Эль Марокко»¹⁷ и всяко-разно. В общем, у меня полчаса ушло выяснить, где все они работают и всяко-разно в Сиэтле. В одной страховой конторе. Я их спросил, как им это нравится, но думаете, от этих бажбанок добьешься внятного ответа? Мне показалось, две уродины, Марти и Лаверн, – сестры, но когда спросил, они очень оскорбились. Сразу видно: ни одной не хотелось быть похожей на другую, что, в общем, и правильно, только все равно умора.

Я протанцевал с ними всеми – всеми тремя – по одной зараз. Одна уродина, Лаверн, танцевала нехило, зато другая, эта Марти, – просто убийство. Эту Марти, будто статую Свободы, за собой по пятаку волочишь. Пока я ее таскал, чтоб хоть какой-то умат получился, я чутка развлекся. И сказал ей, дескать, только что видел Гэри Купера¹⁸, кинозвезду, с другой стороны пятака.

– *Где?* – спрашивает, переполошилась вся, как не знаю что. – *Где?*

– Ай, вы его упустили. Только что вышел. Чего вы не смотрели, когда я сказал?

Она чуть танцевать не бросила и давай себе озираться поверх голов: может, получится заметить.

– Ох, вапще! – говорит. У нее просто сердце кровью об-

¹⁷ «Аист» и «Эль Марокко» – культовые манхэттенские ночные клубы 1930—1950-х гг.: первый был основан бывшим бутлегером Шерманом Биллингсли, второй – итальянским иммигрантом Джоном Пероне (1931).

¹⁸ Гэри (Фрэнк Джеймс) Купер (1901–1961) – американский киноактер.

лилось – по-честному. Я сразу, как не знаю что, пожалел, что ее так подначил. Некоторых не надо подначивать, хоть и стоит.

Но самое смешное потом было. Мы вернулись за столик, а эта Марти остальным двум говорит, что здесь только что Гэри Купер был. Ух, эти Лаверн и Бернис чуть с собой на месте не покончили, когда такое слышали. Такой кипиш подняли, кинулись Марти расспрашивать, видела она его и всяко-разно или нет. А эта Марти говорит: мимоходом углядела. Я чуть не сдох.

Бар уже закрывался, поэтому я им каждой по два стакана заказал, пока не закрылось, а себе взял еще две колы. Стаканы со стола, нафиг, чуть не падали. Одна уродка, Лаверн, меня все подначивала, что я пью только колу. Бесценное у нее чувство юмора. Они с этой Марти пили «томы коллинзы» – это в декабре-то¹⁹, ёксель-моксель. Что они шарят. А блондинка, эта Бернис, пила бурбон с водой. И неслабо так хлестала. Вся троица то и дело озиралась, нет ли тут каких кинозвезд. Они еле разговаривали, даже друг с дружкой. Эта Марти разговорчивей прочих двух была. Только рот откроет – сразу какое-нибудь занудное фофанство из нее лезет – с понтом, зовет тубзо «будуаром», к тому ж она решила, что этот бедный битый кларнетист Бадди Сингера – очень неслабый, когда он вылез вперед и дунул пару подморожен-

¹⁹ Коктейль «Том Коллинз» (джин, содовая, лаймовый или лимонный сок, сахар, лед) считается летним напитком.

ных жарких аккордов. Его кларнет она «леденцом» звала. Вот фофанство. Вторая уродина, Лаверн, считала себя дико остроумной. Все время просила меня позвонить папе и спросить, что он сегодня делает. Все спрашивала, есть свиданка у моего штрика или нет. *Четыре раза* спрашивала – остроумная дальше некуда. А эта Бернис, блондинка, вообще почти ничего не говорила. Только я спрошу у нее что-нибудь, она в ответ: «Чего?» Через некоторое время на нервы действует.

Вдруг ни с того ни с сего они допили, все втроем встали и заявляют, что им пора спать. Говорят, вставать рано, чтоб попасть на первое представление в «Мюзик-холле Радио-Сити»²⁰. Я попробовал уговорить их еще посидеть, а они вот ни в какую. Поэтому мы попрощались и всяко-разно. Я им сказал, что как-нибудь разыщу их в Сиэтле, если доберусь, только я что-то сомневаюсь. Что буду их разыскивать, в смысле.

С сигами и всяко-разно счет принесли долларов на тринадцать. Девки уж могли бы, по-моему, хоть *предложить* самим заплатить за то, что выжрали до меня, – я бы им, конечно, не *дал*, но предложить-то могли бы. Хотя наплевать. Настолько они не шарят, да и убогие фонарные шляпки эти и всяко-разно. А от этой хреноты с ранним подъемом, чтоб пораньше в мюзик-холл попасть, мне вообще поплохело. Если б кто-нибудь, какая-нибудь девка в жуткой шляпке, например, приперлась аж в Нью-Йорк – из Сиэтла, штата *Ва-*

²⁰ «Мюзик-холл Радио-Сити» (с 1932) – театрально-концертный комплекс, расположенный в здании Рокфеллеровского центра.

шингтон, ёксель-моксель, – и встает по утрянке, чтоб, нафиг, успеть на первое представление в «Мюзик-холле Радио-Сити», мне так тоскливо становится, что я просто не могу. Да я бы всем троим *сотню* стаканов выкатил, только бы они мне про это не втюхивали.

Чуть погода и я из «Лавандовой залы» отвалил. Они там все равно закрывались, а банда уже давно упаковалась. Во-первых, в таких местах сидеть – сплошной кошмар, если тебе не с кем нормальным потанцевать или официант не дает ничего путёвого бухнуть, одну колу. Нет ни одного ночного клуба на свете, где долго высидишь, если, по крайней мере, не возьмешь бухла и не нарежешься. Или если с тобой нет никакой девки, от которой с ног сшибает.

11

Тут вдруг ни с того ни с сего, пока я до вестибюля шел, мне в башку опять эта Джейн Гэллахер взбрела. Взбрела и выбредать никак не хотела. Я сел в блевотного цвета кресло в вестибюле и стал думать про нее и Стрэдлейтера в этой, нафиг, машине Эда Бэнки, и хоть я и был, нафиг, уверен, что этот Стрэдлейтер ее не оприходовал – Джейн-то я знаю как облупленную, – но она все равно из головы не лезла. Я же ее знаю как облупленную. По-честному. В смысле, не только шашки – ей вообще всякий спорт был зашибись, а как мы с ней познакомились, так все лето играли почти каждое утро

в теннис, а почти каждый день в гольф. Я ее по-честному нормально так близко узнал. Не в смысле *физически* или как-то – это нет, – но виделись мы с ней все время. Не всегда под юбку надо лазить, чтобы девку узнать.

А как я с ней познакомился – этот ее доберман-пинчер раньше часто ходил облегчаться к нам на газон, и штруню мою это дико бесило. И вот она позвонила штруне Джейн и насчет этого развонялась. Штруня моя так умеет. А потом чего – потом через пару дней вижу: возле бассейна в клубе Джейн на животе лежит, – привет, говорю. Я знал, что она в соседнем доме живет, только никогда с ней раньше ни разговаривал, ничего. А она так на меня зыркнула, когда я в тот день с ней поздоровался. Меня, нахер, достало объяснять ей потом, что мне, нафиг, вообще надристать, где ее пес облегчается. Хоть в гостиной, мне-то что. Ладно, в общем, после этого мы с Джейн подружились и всяко-разно. В тот же день с ней в гольф сыграли. Она восемь мячей потеряла, как я помню. *Восемь*. Я заманался убеждать ее, чтоб глаза хоть открывала, когда по мячу бьет. Но играть со мной она стала сильно лучше. Я в гольф путёво играю. Если б я сказал, сколько выбиваю, вы бы мне, наверно, не поверили. Я однажды чуть в киножурнал не попал, только в последнюю минуту передумал. Прикинул, что раз я кино терпеть не могу, как мало кто, это ж фуффло будет, если я им дам себя в киножурнал засунуть.

Уматная она девка, эта Джейн. Я бы не стал даже гово-

ритель, что сильно красивая. Но меня сшибла. Она как бы такая большеротая. В смысле, как примется болтать и заведется насчет чего-нибудь, так у нее рот в полсотни сторон сразу разлетается, и губы, и все. Сдохнуть можно. И никогда у нее до конца не закрывается – рот то есть. Всегда вроде как приоткрыт, особенно если она в стойку с клюшкой становится или книжку читает. А она всегда читала, и книжки все почестному хорошие. Кучу стихов и всяко-разно. Ей одной, ну, кроме родичей то есть, я показывал бейсбольную перчатку Олли, со всеми стихами, что там понаписаны. Олли она ни знала, ничего, потому что в Мэне первое лето жила – до того она ездила в Кейп-Код, – но я ей вполне себе много про него рассказывал. Ей про такую фигню интересно.

Моей штруне она не сильно нравилась. В смысле, моя штруня все время думала, будто Джейн и ее штруня перед ней нос задирают или как-то, если не здороваются. Моя штруня их часто в деревне видала, потому что Джейн со своей часто на рынок ездила в этом их «ласалле» с откидным верхом. Моя даже не считала, что Джейн симпотная или как-то. А я считал. Мне просто нравилось, как она выглядит, вот и все.

Помню, как-то раз мы с Джейн даже почти обжимались. Суббота, и дождь шел просто гадски, а я был у нее на веранде – у них такая здоровая веранда с сетками была. Мы играли в шашки. Я время от времени Джейн подначивал – она дамок с задней линии никак не хотела выводить. Но не силь-

но подначивал. Джейн не в жилу было сильно подначивать. Мне, наверно, больше всего в жилу с подначками под юбку к девке лезть, если случай выпадет, но тут забавная фиговина. Те девки, что мне больше нравятся, – их-то как раз подначивать и не сильно в жилу. Иногда мне кажется, им бы *самим* нравились подначки – на самом деле, я *знаю*, это им понравится, – только начать трудно, если знаком с ними уже долго и раньше никогда не подначивал. В общем, я вам про тот день рассказывал, когда мы с Джейн почти обжимались. Лило, как не знаю что, и мы сидели у нее на веранде, как вдруг туда вваливается этот кирюха, за которого ее штруня вышла, и спрашивает, остались ли в доме сигареты. Я его хорошо ни знаю, никак, но он вроде как из тех мужиков, что с тобой и разговаривать, считай, не станут, если им от тебя ничего не нужно. Паршивый типус. В общем, эта Джейн ему не ответила, когда он ее про сиги спросил. Мужик опять у нее спрашивает, а она все равно не отвечает. От доски даже голову не подняла. Наконец мужик обратно в дом ушел. И тут я у Джейн спрашиваю, чего это было такое. Так она не ответила даже *мне*. Сделала вид, будто следующий ход обдумывает и всяко-разно. И тут вдруг слеза такая на доску – плюх. На темный квадрат – ух, у меня до сих пор перед глазами. И Джейн эту слезу в доску пальцем просто втерла. Не знаю, чего ради, но я из-за этого переполошился, как хер знает что. Поэтому я чего – я подошел и втиснулся рядом с ней на качалку, она чуть подвинулась, – чуть ли не на *коленки* ей сел

вообще-то. И тут она *по-честному* расплакалась, и дальше я и прочухать не успел, как уже целовал ее везде – куда *угодно* – в глаза, в *нос*, в лоб, в брови и всяко-разно, в *уши* – во все лицо ее, ну кроме рта и всяко-разно. Ко рту она меня как бы не пускала. В общем, так вот мы с ней почти обжигались. Немного погодя она встала и зашла в дом, и надела там этот свой красно-белый свитер, от которого меня просто вырубало, и мы пошли, нафиг, в кино. По дороге я у нее спросил, не пытался ли мистер Кудахи – так этого кирюху звали – с ней когда-нибудь руки распускать. Она вполне себе молоденькая, но у нее фигура будь здоров, и вряд ли этот гад Кудахи такое бы мимо пропустил. Но она говорит: нет. Я так и не выяснил, что за херовина у них тогда случилась. Бывают такие девки, от которых вообще никогда ни шиша не добьешься.

Не хочу, чтоб вы думали, будто она какая-нибудь, нафиг, *сосулька* или как-то, только потому, что мы с ней никогда не обжигались да и дурака, в общем, не валяли. Вовсе она не она. Мы с ней, к примеру, все время за руки держались. С понтом, фигня, скажете, но с ней неслабо за руки было держаться. Большинство девчонок, если их за руку взять, – так их рука, нафиг, в твоей *поддыхает* просто, или они думают, что надо рукой все время *дрыгать*, будто боятся, что тебе с ними скучно будет или еще чего. С Джейн все не так. Мы приходили, нафиг, в кино или как-то, и сразу начинали за руки держаться, и не отпускались, пока кино не кончится.

Причем не ерзали там, кипиш не подымали. С Джейн никогда не надо было дергаться, потная у тебя рука или нет. Понятно было только одно – ты сидишь и радуешься. По-честному.

Я еще вот чего вспомнил. Однажды в кино Джейн такую штуку сделала, от которой меня чуть не вырубил. Там киножурнал шел или чего-то, как вдруг я чувствую руку у себя на затылке, и рука эта – ее, Джейн. Забавная фиговина такая. В смысле, она ж молоденькая еще и всяко-разно, а большинство девок, если видишь, как они руку на затылок кому-нибудь кладут, им лет по двадцать пять – тридцать, и они обычно так делают мужу своему или малявке – я, например, сестренке Фиби своей так иногда делаю. Но если девка вполне себе молодая и всяко-разно и так делает, это так неслабо, что сдохнуть можно.

В общем, про это все я и думал, пока сидел в этом блевотном кресле. Про Джейн. И только доходил дотуда, где она с этим Стрэдлейтером на свиданке сидит, нахер, в машине Эда Банки, чуть умом не двигался. Я знал, что она его до первой базы не пустит, но чуть умом не двигался все равно. Мне даже говорить об этом не в жилак, сказать вам правду.

А в вестибюле, считай, никого уже не осталось. Даже всех этих шлюшистых блондинок, и мне вдруг ни с того ни с сего захотелось свалить оттуда, нахер, вообще. Слишком тоскливо. К тому же я ни устал, ничего. Поэтому я поднялся к себе в номер и надел куртку. И еще посмотрел в окно – куролесят

ли там еще эти извращенцы, — только и свет, и всяко-разно уже погасло. Я снова спустился на лифте, взял мотор и сказал водиле, чтобы вез меня к Эрни. «Эрни» — это такой ночной клуб в Гринич-Виллидж, куда часто ходил, бывало, мой брательник Д. Б., пока не уехал в Голливуд собой торговать. Он в этот клуб меня время от времени брал. Сам Эрни — это такой жирный цветной парняга, на пианино играет. Неслабый сноб, с тобой даже разговаривать не станет, если ты не шишка там какая или не знаменитость, или как-то, а вот на пианино играет будь здоров. Такой уматный, что еще чуть — и прям фофан. Я не очень секу, чего хотел этим сказать, но хотел. Слушать, как он играет, мне в жилу, только иногда хочется пианино его, нафиг, на бошку ему надеть. Наверно, оттого, что, когда он играет, *звук* такой, будто парняга этот с тобой и разговаривать не станет, если ты не шишка.

12

В моторе, что мне достался, воняло так, будто кто-то в него харч метал. Если я еду куда-нибудь поздно ночью, мне вечно попадают такие блевотные моторы. А еще хуже оттого, что снаружи так тихо и одиноко, хоть и суббота ночью. На улице вообще почти никого. Только время от времени через дорогу пилит какой-нибудь мужик с девчонкой, в обнимку за талию и всяко-разно, да парни, громилы по виду, кучкуются с девками своими, и все ржут, как кони, — и на-

верняка же ни фиги смешного там нет. В Нью-Йорке жуть, если кто на улице посреди ночи ржет. За много миль слышно. От этого только одиноко и тоскливо. Я все жалел, что не могу поехать домой и потрепаться с Фиби. Но в конце концов мы немного проехали, и я вроде как разговорился с таксёром. Его фамилия была Хорвиц. Сильно получше парень, чем тот, что раньше был. В общем, я подумал, может, он про уток что-нибудь знает.

– Эй, Хорвиц, – говорю. – Вы когда-нибудь проезжали мимо пруда в Центральном парке? Возле Южной Сентрал-парк?

– Возле *чего*?

– Пруда. Ну там такое озеро маленькое есть. Где утки. Понимаете?

– Ну, и чего?

– Знаете уток, они по нему еще плавают? Весной и всяко-разно? Случайно не в курсе, куда они зимой деваются?

– *Кто* куда девается?

– Утки! Не в курсе – ну, случайно? В смысле, может, кто на грузовике приезжает или как-то и увозит их, или они сами улетают – на юг или еще куда?

Этот Хорвиц разворачивается ко мне целиком и смотрит. Очень такой нетерпеливый типус. Хоть и уматный.

– Откуда я, нахер, знаю? – говорит. – Откуда я, нахер, знаю такую дурь?

– Ну вы только не злитесь, – отвечаю. Он из-за этого как-

то разозлился или как-то.

– А кто злится? Никто не злится.

Я перестал с ним беседовать, раз он такой, нафиг, дерганный. Только он сам опять завелся. Весь целиком такой разворачивается ко мне и говорит:

– Вот *рыба* – она никуда не девается. Сидит там, где и сидела, рыба. Прямо в своем, нафиг, озере.

– Рыба – это другое. С рыбой по-другому все. А я про *уток* говорю.

– А что в ней *другое*? Ничего не *другое*, – отвечает Хорвиц. Что бы он ни говорил, звучало так, будто он на что-то злится. – *Рыбе* круче приходится, зима и все такое, чем уткам, я тя умоляю. Ты башкой своей подумай, я тя умоляю.

Я целую минуту ему не отвечал. Потом говорю:

– Ладно. А что они делают – рыбы и всяко-разно, когда все это озеро – сплошь лед, сверху люди на *коньках* катаются и всяко-разно?

Этот Хорвиц опять ко мне разворачивается.

– Ты это, нахер, чего мелешь, – что делают? – орет он на меня. – Там и сидят, я тя умоляю.

– Но они ж не могут на лед внимания не обращать. Не могут, а?

– А кто на него внимания не обращает? Все на него внимание *обращают*! – говорит Хорвиц. Так разгорячился, нафиг, и всяко-разно, что я перепугался, не загонит ли он мотор свой в столб или как-то. – Они *живут* прямо в этом хрено-

вом льду. Это их природа, я тя умоляю. Они замерзают прямо в одной позе на всю зиму.

– Да? А что они тогда едят? В смысле, если они *напрочь* замерзают, они ж не могут плавать и *жратву* искать, и всяко-разно.

– Их *тела*, я тя умоляю, – да что с тобой такое, а? Их тела питание и все такое высасывают через, нафиг, морскую траву и прочую срань, которая во льду. У них все время *поры* открыты. *Природа* у них такая, я тя умоляю. Понял теперь? – И он снова целиком развернулся и на меня уставился.

– А, – говорю. Ну и фиг с ним. Я боялся, что он своим, нафиг, мотором во что-нибудь въедет или как-то. А кроме того – такой раздражительный, что никакого удовольствия с ним ничего обсуждать. – А вы не против где-нибудь остановиться и со мной выпить? – говорю.

Только он не ответил. Наверно, думал. А я его еще раз спросил. Он парень ничего так себе. Уматный и всяко-разно.

– Нет у меня времени на бухло, кореш, – отвечает. – Тебе вообще сколько лет-то, а? Ты чего это не дома и не баиньки?

– Я не устал.

Когда я вышел перед «Эрни» и за проезд заплатил, этот Хорвиц опять про рыбу завел. Очень, видно, она его увлекала.

– Слышь, – говорит. – Вот будь ты рыбой, Мать-Природа же о тебе *позаботилась* бы, правда? Точно? Ты же не думаешь, что рыба просто *дохнет*, когда зима наступает, а?

– Нет, но...

– И ты, нафиг, прав – недохнет она, – говорит Хорвиц и тут же рвет с места, как чертом подпаленный. Я таких раздражительных, наверно, никогда не видал. Что б ты ни сказал – все его злит.

Хоть уже и позднѣяк, у этого Эрни внутри было битком. В основном – туполомы-старшекласники да туполомы из колледжа. Почти все, нафиг, школы на свете распускаются перед Рождеством пораньше, кроме тех, в которые хожу я. Даже куртку не сдашь, такая у Эрни давка. Но вполне себе спокойно, потому что сам Эрни играл на пианино. Это у них вроде святое *таинство*, ёксель-моксель, если он к пианино садится. Куда *деваться*. Еще три пары где-то, кроме меня, ждали столика – толкались, вставали на цыпочки, чтоб поглядеть на этого Эрни, пока он играет. У него перед пианино, нафиг, огромное зеркало стояло, а на него самого прожектор навели, чтобы всем видно было, какое у него лицо. *Пальцы* там не разглядишь – только эту здоровенную харю. Удристаться. Не уверен, что там за песня у него была, но что бы ни было, он ее точняк говнял. На высоких нотах подпускал такого тупого пижонского журчанья и прочей хитровывернутой хренотени, от которой сплошная засада. А когда доиграл – слышали б вы толпу. Вы б точняк блеванули. Они обезумели. Это те же дебилы, что в кино ржут, как кони, когда не смешно. Ей-богу, будь я пианистом, или актером, или как-то, и если б все эти бажбаны считали меня таким неслабым, меня

б с души воротило. Мне б даже не хотелось, чтоб мне *хлопали*. Люди всегда хлопают не тому. Будь я пианистом, я бы, нафиг, в чулане играл. В общем, когда этот Эрни дожурчал и все захлопали так, что бошки чуть не отваливались, он развернулся на табуретке и отвесил такой фуфловый, *застенчивый* поклон. С понтом, он такой, нахер, застенчивый, помимо того, что неслабо играет. Сплошное фуфло – в смысле, он же такой сноб и всяко-разно. Но забавно вот что – мне вроде как жалко его стало, когда он доиграл. Думаю, он уже даже не *соображает*, правильно играет или нет. И в этом, считай, не только он виноват. Виноваты эти бажбаны, которые хлопают так, что кочаны отваливаются, – они кого *угодно* изговняют, дай им случай. В общем, мне опять тоскливо стало и паршиво, и я, нафиг, чуть куртку свою не забрал и снова не двинул в гостиницу, только было еще слишком рано, а одному мне сидеть совсем не в жилу.

Наконец меня посадили за этот вонючий столик, прямо под самой стеной и за столбом, нафиг, откуда ни шиша не видно. Такой крохотный столик – там если из-за соседнего не встанут, фиг протиснешься, – а они, гады, *никогда* же не встают, поэтому приходится на свое место чуть ли не *карабкаться*. Я заказал скотч с содовой – это у меня любимый напиток, после замороженных дайкири. У Эрни, даже если тебе лет шесть, бухла выкатят, так темно там и всяко-разно, а кроме того, всем наплевать, сколько тебе лет. Там можно даже сторчавшимся хмырям приходить, никто и глазом не

моргнет.

Меня окружали туполомы. Я не шучу. За этим другим крохотным столиком, сразу слева от меня, считай, у меня на *горбу*, сидел такой чмошный парень и его чмошная девка. Моих лет где-то, может, чуть постарше. Уржаться. Видно было, как они изо всех сил стараются то, что налито, слишком быстро не допивать. Я немного послушал, о чем базарят, потому что делать мне все равно больше не фиг было. Он ей на уши приседал о каком-то футбольном матче, который накануне посмотрел. Все пасы, нафиг, в игре описал до единого, без балды. Жутче зануды я никогда не слышал. А видно было, что девке его футбол этот, нафиг, до фонаря, а на вид она была еще чмошнее *его*, поэтому, наверно, хочешь не хочешь, а *слушай*. Уродинам туго приходится. Мне их бывает очень жалко. Иногда я не могу на них даже пялиться, особенно если они с каким-нибудь бажбаном, который им про футбольный, нафиг, матч втирает. А *справа* от меня базары еще хуже. Справа сидел такой типус весь из себя из Йеля, в сером фланелевом костюме и жилетке в клеточку, как гомики носят. Все эти гады из Лиги Плюща на одно лицо. Мой штрик хотел, чтоб я в Йель пошел, а может, в Принстон, но чесслово, даже под страхом *смерти*, ёксель-моксель, я б в Плющовую Лигу не сунулся. В общем, этот йельский типус сидел с такой нефиговой на вид девкой. Ух симпотная. Но слышали б вы, о чем они трындели. Во-первых, оба бухие. А он чего делал при этом – он ее под столом мацал, а сам при

этом втюхивал про какого-то парня у них в общежитии, который сожрал целый пузырек аспирина и через это чуть кони не двинул. А девка его всю дорогу вякает:

– Какой *ужас*... Нет, дорогой мой. Не надо, пожалуйста. Не здесь. – Прикиньте: мацаете вы кого-нибудь и одновременно втюхиваете, как кто-нибудь с собой кончает! Я чуть не сдох.

Но вот сижу я там один такой и начинаю себя ощущать просто чемпионской жопой в этом заезде. Делать не фиг – только кирять да курить. А я вот чего – я подозвал официанта и говорю: не хочет ли, мол, Эрн со мной выпить? И попросил передать, что я – брат Д. Б. Только не думаю, что халдей передал. Эти гады никогда никому ничего не передают.

Тут вдруг ни с того ни с сего подваливает ко мне эта девка и говорит:

– Холден Колфилд!

Ее звали Лиллиан Симмонз. С ней мой братеньник Д. Б. одно время ходил. Буфера у нее будь здоров.

– Привет, – говорю. Естественно, попробовал встать, только в таком месте это сильно постараться надо. С ней был какой-то морской офицер – с таким видом, точно в очко ему кочергу вогнали.

– Как изумительно тебя видеть! – говорит эта Лиллиан Симмонз. Фуфло неразбавленное. – Как твой старший братик? – Вот что ей на самом деле надо было.

– Отлично. Он в Голливуде.

– В Голливуде? Как изумительно! А что он там делает?

– Не знаю. Пишет, – говорю. Мне с ней не хотелось в это вдаваться. Сразу видно: для нее это неслабый кипиш, что он в Голливуде. Это почти для всех так. В основном для тех, кто его рассказы никогда не читал. Рехнуться, да и только.

– Как *волнительно*, – говорит эта Лиллиан. Потом со своим флотским меня познакомила. Звали его командер Блоп или как-то. Из тех, кто думает, будто все решат, что он хлюздя, если он не сломает тебе сорок пальцев, когда руку жать будет. Господи, просто ненавижу. – А ты тут совсем один, детка? – спрашивает эта Лиллиан. А сама в проходе *все движение, нафиг*, перекрыла. Сразу видно – нравится ей так движение перекрывать, чем больше, тем лучше. И халдей этот ждет, чтоб она с места сдвинулась, а она даже не замечает. Уржаться. По всему видно, халдею она не очень в жилу, да и флотскому, видать, не очень, хоть он с ней и пошел на свиданку. Да и *мне* она не очень в жилу. Никому не в жилу она. Тут хочешь не хочешь, а ее как-то пожалеешь. – У тебя разве девушки нет, детка? – спрашивает. Я такой уже стою перед ней, а она даже не сказала мне сесть. Такие тебя часами на ногах держать могут. – Ну не симпатяга ли? – говорит она своему флотскому. – Холден, ты с каждой минутой все симпатичнее. – Тут флотский ее подталкивает: пойдем, мол. Сказал, что она весь проход перегородила. – Холден, давай-ка с нами, – говорит эта Лиллиан. – Бери стакан,

и пошли.

– Я уже уходить собрался, – отвечаю я. – У меня кое с кем встреча. – Сразу видно, она ко мне шьется. Чтоб я потом Д. Б. все рассказал.

– Ах ты маленький такой-сякой. Ну и ладно. Когда увидишь своего старшего братика, передай, что я его терпеть не могу.

Потом она свалила. Мы с флотским сказали друг другу, как нам приятно было познакомиться. Я всегда на этом чуть не подыхаю. Вечно говорю: «Приятно было познакомиться», – тем, с кем знакомиться мне было *вовсе* не приятно. Но такое всегда надо говорить, если не хочешь сдохнуть.

После того как я ей сказал, что у меня кое с кем встреча, другого выхода, нафиг, не осталось – только *свалить*. Нельзя было даже поторчать еще немного, послушать, как Эрни что-нибудь хоть чутка приличного сыграет. Но сидеть за одним столиком с этой Лиллиан Симмонз и этим ее флотским – ну уж дудки, так со скуки сдохнуть недолго. И я свалил. Только вот, когда куртку забирал, рассвирепел. Приходят и вечно тебе все говняют.

13

Обратно в гостиницу я двинул пешком. Роскошь – сорок один квартал. Пошел я не потому, что мне походить пешком хотелось или как-то. Больше потому, что совсем не в жилак

было залазить еще в один мотор и потом из него вылезать. Иногда утомляет ездить в такси – как утомляет кататься на лифте. Вдруг ни с того ни с сего нужно пройтись – и плевать, далеко это или высоко. Совсем пацаном еще я очень часто ходил наверх до самой нашей квартиры. Двенадцать этажей.

А на улице и не поймешь вообще, был снег или нет. На тротуарах его почти и не осталось. Но дубарина такой, что я вытащил этот красный кепарь из кармана и надел – надри-стать, как я там выгляжу. Я ему даже уши опустил. Узнать бы, кто в Пенси мои перчатки свистнул, потому что руки у меня задубели. Хотя что бы я сделал, если б даже узнал? Я же ссыкун такой. Стараюсь не показывать, но я ссыкливый. Например, если б я в Пенси выяснил, кто свистнул перчат-ки, я бы пришел к жулику в комнату и сказал: «Ладно. Как насчет вывалить мне мои перчатки?» А жулик, который их спер, наверно, сказал бы – невинненьким таким голоском и всяко-разно: «Какие перчатки?» И тогда я, наверно, вот че-го бы – я бы зашел к нему в чулан и нашел бы где-нибудь эти перчатки. Он бы их в галоши засунул или как-то, напри-мер. Я бы их вытащил и предъявил ему, и сказал: «Полагаю, это *твои*, нафиг, перчатки?» Тогда жулик, наверно, посмот-рел бы на меня так очень фуффово, невинненько и сказал: «Я этих перчаток в жизни не видел. Если твои, забирай. Не нужна мне, нафиг, эта параша». Тогда я, наверно, постоял бы там минут пять. С перчатками, нафиг, в руке и всяко-разно, но как же мне хотелось бы двинуть ему в челюсть или чего-то

– сломать ему эту челюсть нафиг. Только у меня кишка была б тонка так сделать. Я бы просто там *стоял* и старался выглядеть круче некуда. А можно бы что – можно бы сказать чего-нибудь очень язвительное и наглое, чтоб его взбесить – а в челюсть *не* бить. В общем, если б я сказал что-нибудь очень язвительное и наглое, он бы, наверно, встал, подошел ко мне и сказал: «Слышь, Колфилд. Ты меня жуликом, что ли, назвал?» И вот *потом*, вместо того чтоб сказать: «Тут ты, нафиг, прав, так я тебя и назвал, гад, жулье вонючее!» – я б, наверно, ответил только: «Я вижу только, что мои, нафиг, перчатки засунуты в твои, нафиг, галоши». И тут бы он сразу понял наверняка, что ни в какую челюсть ему давать я не стану, и сказал бы тогда: «Слышь-ка. Давай уж выясним. Ты меня вором назвал?» И тогда я б, наверно, ответил: «Никто никого никем не назвал. Я знаю только, что мои перчатки – у тебя, нафиг, в галошах». И так оно бы тянулось *часами*. Но я б наконец свалил из его комнаты, а в челюсть бы ему так и не двинул. Наверно, пошел бы в тубзо, вытащил бы нычку и с сигой перед зеркалом изображал крутого. В общем, про это все я и думал по дороге к гостинице. Ссыкуном быть не в жилу. А может, я и не весь ссыкун. Фиг знает. Может, я ссыкливый с одной стороны, а с другой – мне просто надри-стать, потерял я перчатки или нет. У меня в чем еще засада – мне почти всегда до фонаря, если я чего потеряю: штруня моя просто на стенку лезла, когда я был пацаном. Некоторые целыми *днями* ищут, чего потеряли. А у меня, похоже,

ничего и нет такого, что потерять мне было б не до фонаря. Может, поэтому я с одной стороны ссыкло. Но это, конечно, не откоряка. По-честному. Надо вообще не быть ссыкуном. Если должен кому-то в челюсть заехать и тебе вроде как это в жилу, так и надо заехать. Просто у меня это не очень получается. Я лучше кого-нибудь из окна выпихну или башку ему отрублю топором, чем в челюсть давать. Драки я ненавижу. В общем, пофиг, даже если меня бьют, – мне это, понятно, не в жилак, но в драке меня больше всего пугает лицо того, с кем машешься. Терпеть не могу смотреть ему в лицо, вот в чем засада. Хоть бы с повязками на глазах дрались или как-то. Нехилая такая ссыкливость, если вдуматься, но все равно ссыкливость, куда деваться. Себе не наврешь.

Чем больше я думал про перчатки и ссыкливость, тем тоскливее мне становилось, поэтому я решил, пока шел и всяко-разно, притормозить и бухнуть где-нибудь. У Эрни я всего три залил, а последний даже не допил. Вот чего я умею – бухло держать неслабо. Могу кирять всю ночь, а даже видно не будет, если мне зашибись. Однажды в Вутоне мы с одним пацаном, Реймондом Голдфарбом, купили пинту скотча и выхлестали ее в капелле как-то вечером в субботу, пока никто не видел. Он нажрался вдрабадан, а по мне даже незаметно было. Я только спокойный такой стал, невозмутимый. Проблевался перед сном, но по-честному не надо было – это я себя заставил.

Ладно, в общем, перед гостиницей я намылился было в

этот бар, мусорка мусоркой, но оттуда вырулили два мужика, никакие, как не знаю что, и давай у меня спрашивать, где тут метро. Один на вид вроде такой сильно кубинец, он мне всю рожу перегаром завонял, пока я им объяснял, как пройти. В конце концов я в этот бар, нафиг, даже заходить не стал. Просто вернулся в гостиницу.

А там вестибюль вообще пустой. Духан стоит – точно миллион забычкованных сигар. Честно. Спать не в жилу, никак, но паршиво. Тоскливо и всяко-разно. Хотя бы сдохнуть, что ли.

И тут ни с того ни с сего я попадаю в поганейший переплет.

Первым делом, как в лифт захожу, лифтер у меня спрашивает:

– Иннересно времечко провести, дружок? Иль те ссыш-ком поздно?

– Это в каком смысле? – переспрашиваю. Я не просек, на что он намекает и как-то.

– Компашка на ночь иннерсует?

– Меня? – спрашиваю. Очень тупой ответ, но как-то неудобняк, когда к тебе подваливают с таким вопросом.

– Те скока лет, шеф? – спрашивает лифтер.

– А чего? – отвечаю. – Двадцать два.

– Ага. Ну так как нащёт? Иннерсует? Пять зелени за палку. Пятнадцать за ночь. – Он глянул себе на часы. – До полудня. Пятерку зараз, пятнаха до полудня.

– Ладно, – говорю. Это против моих принципов и всяко-разно, но мне было так тоскливо, что я даже не *подумал*. Вот в чем вся засада. Когда очень тоскливо, даже думать не можешь.

– Лана, *чё*? Палку или до полудня? Точней давай.

– Палку.

– Лана, какой номер?

Я поглядел на красную хрень с номером на ключе.

– Двенадцать двадцать два, – говорю. Я уже вроде как пожалел, что все это раскочегарилось, да уж теперь не дрыгнешься.

– Лана. Минут через пятнадцать пришлю девчонку. – Он открыл двери, и я вышел.

– Эй, а она симпотная? – спрашиваю. – Мне старая кошелка невпротык.

– Не кошелка. Ты не перживай, шеф.

– А кому платить?

– Ей, – отвечает. – Поехали, шеф. – И он захлопнул дверь прямо у меня перед носом.

Я зашел в номер, поплескал водой на волосы, да только ежик толком не пригладишь все равно, никак. Потом проверил, воняет из пасти куревом и теми скотчами с содовой, что я выхлестал у Эрни, или не воняет. Надо просто руку ко рту поднести и дунуть, чтоб до ноздрей долетело. Воняло вроде не очень, но зубы я все равно почистил. Затем надел другую чистую рубашку. Понятно, что не стоило ни фер-

титься из-за шлюхи, ничего, только мне все равно заняться было нечем. Меня чуточку поколачивало. У меня вполне себе встал и всяко-разно, только все равно колотило. Правду вам сказать, так я целка. По-честному. Было несколько случаев расстаться с девственностью и всяко-разно, но до дела так пока и не дошло. Всегда чего-то мешает. Например, вот сидишь у девки дома, и предки ее не вовремя возвращаются – или боишься, что вернутся. Или на заднем сиденье у кого-нибудь в машине, а на переднем всегда другая свиданка гудит – в смысле, какой-нибудь девке обязательно подавай знать, что по *всей*, нафиг, машине творится. В смысле, какая-нибудь девка с переднего сиденья всегда оборачивается посмотреть, чего где. Всегда чего-то, в общем. Но пару раз я чуть было не сломал. Один раз в особенности помню. Хотя чего-то не так пошло – я даже не помню уже чего. Такая фигня – почти всякий раз, когда с девкой еще чуть-чуть – и сделаешь, – с нормальной девкой, не шлюхой или как-то, в смысле, – она канючить начинает, дескать, постой. Со мной засада же в том, что я стою. А другие парни – не стоят. Куда тут деваться. Ты ж никогда не знаешь, по-честному они *хотят*, чтоб ты коней придержал, или просто боятся, как не знаю что, или просто говорят тебе «постой», чтоб, если *не* встанешь, *ты* же и виноват окажешься, а не они. В общем, я всегда стою. Засада в том, что я начинаю их жалеть. В смысле девки же в основном такие тупые и всяко-разно. С ними чутка пообжимаешься, как у тебя же на *глазах* у них мозги

из башки высвистывает. Взять девку, когда она уже распалилась, – у нее ж вообще мозгов нету. Фиг знает. Говорят: стой – я и стою. Потом всегда *жалею* – когда уже домой их отвез, – но все равно стою.

Ладно, в общем, пока я другую чистую рубашку надевал, я вроде как прикинул, что мне крупно подфартило в каком-то смысле. Я прикинул, что если она шлюха и всяко-разно, я могу на ней порепетировать на тот случай, если женюсь когда-нибудь или как-то. Я насчет такого дергаюсь иногда. Однажды я книжку читал, в Вутоне, и там был такой очень хитровывернутый галантный пижон. Мсье Бланшар его звали, до сих пор помню. Книжка паршивая, а Бланшар этот – ничего так себе. У него было такое здоровенное шато на Ривьере в Европе и всяко-разно, а делал он в свободное время вот что – он баб дубинкой отгонял. Первостатейный подонок и всяко-разно, но баб с ног сшибал будь здоров. И где-то там он вот как говорил: дескать, женское тело – это как скрипка и всяко-разно, и правильно сыграть на ней может только неслабый музыкант. Книжка-то очень фофанская, я понимаю, но про скрипку у меня из башки все равно никак не лезло. В каком-то смысле именно потому мне и хотелось порепетировать, на случай если когда-нибудь женюсь. Колфилд и его Волшебная Скрипка – ух. Фофанство, это я секу, но не *слишком* уж и фофанство. Мне было бы в жилу так вот неслабо уметь. Половину времени, если совсем уж правду вам сказать, когда я с девкой дурака валяю, самая нехи-

лая засада у меня – это *найти*, ёксель-моксель, то, чего мне там вообще надо, вы ж понимаете, да? Возьмите ту девку, с которой у меня едва не случилось половое совокупление, я рассказывал. У меня где-то *час* ушел на то, чтоб, нафиг, бюзик с нее снять. А когда я его снял, она мне уже чуть в глаз не плюнула.

В общем, я все ходил по комнате, ждал, когда эта шлюха появится. Хорошо бы симпотная была. Хотя если по-честному, то плевать. Мне вроде как хотелось поскорее со всем разделаться. Наконец кто-то в дверь постучал, а когда я пошел открывать, мне прямо на дороге попался чемодан, и я грохнулся через него и, нафиг, чуть коленку себе не сломал. Я всегда роскошное время выбираю через чемоданы переплетаться или как-то.

Я открыл, а там эта шлюха стоит. В верблюжьем пальто и без шляпы. Как бы блондинка, но видно, что крашенная. Хоть не старая кошелка.

– Здравствуйте, – говорю. Галантно, как не знаю что, ух.

– Это про тебя Морис говорил? – спрашивает. Не очень-то, нафиг, и дружелюбная.

– Это лифтер, что ли?

– Ну, – говорит.

– Про меня. Заходите, что же вы? – говорю. Чем дальше в лес, тем я невозмутимей. По-честному.

Она тут же зашла, сняла пальто и вроде как метнула его на кровать. Под ним было зеленое платье. Потом она вро-

де как боком эдак села на стул, который вместе с письменным столом в номере есть, и давай ногой подрыгивать вверх-вниз. Ногу на ногу закинула и ну себе ногой дрыгать. Дерганая очень для шлюхи. По-честному. Наверно, потому, что молодая, как не знаю что. Моего где-то возраста. Я уселся в большое кресло рядышком и предложил ей сигу.

– Не курю, – отвечает. А голосок такой тоненький, занудненький. И не расслышишь ни фиги. Ни спасибо не сказала, ничего, когда ей что-то предложили. Ни шиша не петрит, чего тут.

– Позвольте представиться. Меня зовут Джим Стил, – говорю.

– Время есть? – спрашивает. Само собой, наплевать ей, как там меня, нахер, зовут. – Эй, а лет-то тебе сколько, а?

– Мне? Двадцать два.

– Не смеши мои коленки.

Забавно она это сказала. Совсем как малявка какая-нибудь. Проститутки и всяко-разно, они же как говорят: «Черта с два» или там «Кончай херню пороть», а тут – «Не смеши мои коленки».

– А *вам* сколько? – спрашиваю.

– Достаточно, чтобы фишку сечь, – отвечает. Остроумная, куда деваться. – Так время есть или нет? – снова спрашивает, а потом встала и стянула через голову платье.

Вот меня прибабахнуло, когда она так сделала. В смысле – ни с того ни с сего она это вдруг и всяко-разно. Я знаю,

полагается, чтоб у тебя ничего так стоял, когда перед тобой берут и стягивают платье через голову, а у меня никак. Никакого стояка и в *помине*. Больше тоска, чем стояк.

– Так часы у тебя есть, а?

– Нет. Нету, – отвечаю. Ух как меня прибабахнуло. – Вас как зовут? – спрашиваю. А на ней только розовая комбинашка осталась. Как-то совсем неудобняк. По-честному.

– Солнышко, – говорит. – Пошли давай.

– А вам не хочется поговорить чутка? – спрашиваю. Детский сад – такое ляпать, но меня так, нафиг, прибабахнуло. – Вы куда-то ужасно торопитесь?

Она посмотрела на меня как на полоумного.

– И про какую такую херомотину ты хочешь поговорить? – спрашивает.

– Фиг знает. Ни про что особенное. Я просто подумал, может, вам захочется немного поболтать.

Она снова села на стул возле стола. Только ей это не понравилось, сразу видно. Опять ногой задрыгала – ух какая же дерганая девка.

– Может, теперь вам сигарету? – спрашиваю. Я забыл, что она не курит.

– Я не курю. Слышь, если ты разговаривать собрался, так *давай*. Мне вообще-то некогда.

Только я ничего не смог придумать, чтоб поговорить. Хотел было спросить, как она шлюхой стала и всяко-разно, только забоялся. Да и по-любому, наверно, она б не сказала.

– Вы же не из Нью-Йорка, правда? – наконец спрашиваю. Вот и все, что я сочинил.

– Из Голливуда, – отвечает. Потом встала и подошла к кровати, куда платье свое кинула. – Вешалка есть? – спрашивает. – Не хочу платье мять. С новья совсем.

– Конечно, – тут же отвечаю я. Я только рад был встать и сделать чего-нибудь. Отнес ее платье в гардероб и там его ей повесил. Уржаться можно. Мне как-то убого стало, когда я его вешал. Я подумал, как вот она идет в магаз и его покупает, и там никому невдомек, что она шлюха и всяко-разно. Продавцы, наверно, думают, обычная такая девка. Убого мне стало, как я не знаю что, – и фиг знает, почему.

Я снова сел и попробовал этот разговор все-таки продолжить. Она паршиво беседу вела.

– Вы каждую ночь работаете? – спрашиваю; жуть как прозвучало, как только я рот закрыл.

– Ага. – Она ходила по всему номеру. Взяла со стола меню и стала читать.

– А днем что делаете?

Она как бы плечами пожала. Вполне себе тощая.

– Сплю. В кино хожу. – Она отложила меню и посмотрела на меня. – Пошли давай, а? Что мне, всю ночь...

– Слушайте, – говорю. – Мне сегодня не очень по себе. У меня была бурная ночь. Богом клянусь. Я вам заплачу и всяко-разно, но вы не будете возражать, если мы не станем это делать? Вы не очень против будете? – Засада в том, что мне

просто не в жилик было. Больше тоскливо, чем стоял, сказать вам правду. От *нее* тоскливо. Ее зеленое платье в гардеробе висит и всяко-разно. А кроме того, я *вообще* не думаю, что у меня встал бы на того, кто весь день сидит в дурацком кино. По-честному, наверно, не встал бы.

Она подошла ко мне с такой уматной рожей, будто не поверила.

– Чего такое? – спрашивает.

– Ничего не такое. – Ух как меня заколотило. – Засада в том, что у меня очень недавно операция была.

– Ну? Где?

– На этом, как его, – на клавикорде.

– Да ну? А это, нахрен, где?

– Клавикорд? – говорю. – Ну, вообще-то он в спинномозговом канале. В смысле, вполне глубоко в спинномозговой канал закопался.

– Да ну? – говорит. – Это туго. – А потом она села, нафиг, мне на коленки. – Ты лапуся.

Меня так заколотило, что я врал себе дальше напропалую.

– Я еще не оправился, – говорю.

– Ты похож на парня из кино. На этого. Как его. В общем, *сам* знаешь. Как же, нахрен, его зовут?

– Фиг знает, – отвечаю. А она с коленей моих, нафиг, не слазит.

– Да знаешь. Он еще в той картине был с Мельвином Дагласом? Там еще, где мелкий братец у Мельвина Дагласа?

Который еще за борт падает? Ну ведь *знаешь*, о ком я²¹.

– Нет, не знаю. Я стараюсь в кино как можно реже ходить. Тут она давай со мной чудить. Дуболомно так и всяко-разно.

– Вы бы не против перестать? – спрашиваю. – Я не в настроении, я ж вам только что сказал. Я недавно операцию перенес.

Только она с коленок моих ни встала, ничего, а поглядела на меня так гнусно, что мама дорогая.

– Слышь, – говорит. – Я *спала* вообще, когда этот долбанутый Морис меня разбудил. Если ты думаешь, я...

– Я же *сказал*, я вам заплачу, что пришли, и всяко-разно. По-честному. Грошей у меня много. Просто я практически только оправляюсь после очень серьезной...

– А какого ж хера тогда ты сказал этому долбанутому Морису, что тебе *девка* нужна, а? Если у тебя, нафиг, операция на твоём, нафиг, как его там. А?

– Я думал, мне лучше станет, а не стало. Я слегка не под-
рассчитал. Кроме шуток. Извините. Если вы на секундочку встанете, я схожу за бумажником. Честно.

²¹ Скорее всего речь идет о фильме американского режиссера Виктора Флеминга «Отважные капитаны» (1937), поставленном по одноименному роману английского писателя Редьярда Киплинга (1897). Правда, американский актер Мелвин Даглас (Мелвин Эдуард Хесселберг, 1901–1981) сыграл роль не старшего брата, а отца главного героя, выпавшего за борт. Холден, по мнению Солнышка, может походить, видимо, на Спенсера Трейси (1900–1967), американского киноактера, сыгравшего роль добросердечного португальского рыбака Мануэля.

Разозлилась она, как не знаю что, но встала у меня, нафиг, с колен, чтоб я сходил к комоду за лопатником. Я вытащил пятерку и отдал ей.

– Большое спасибо, – говорю. – Огромное просто спасибо.

– Это пятерка. А стоит десятку.

Чудит, сразу видать. Вот чего-то такого как раз я и боялся – по-честному боялся.

– Морис сказал – пятерку, – говорю. – Сказал, пятнадцать до полудня, пятерку за палку.

– Десять за палку.

– Он сказал – пять. Мне очень жаль – по-честному, – но больше я ничего не выкачу.

Она вроде как бы пожала эдак плечами – как раньше, – а потом говорит, очень холодно:

– Ты мне платице не принесешь? Или тебе слишком трудно? – Не малявка, а жутик какой-то. Даже этим своим корявым голосочком напугать может. Да будь она старой шлюхой, с кучей краски на роже и всяко-разно, и то не была б таким жутиком.

Я пошел и сходил за ее платьем. Она его надела и всяко-разно, потом сгребла с кровати верблюжье пальто.

– Пока, нищеброд, – говорит.

– Пока, – говорю. Ни спасибо ей не сказал, ничего. Ну и хорошо, что не сказал.

Когда эта Солнышко ушла, я немного посидел в кресле и выкурил пару сиг. Снаружи светало уже. Ух как мне было гнило. Так тоскливо, что вы себе и представить не можете. И я тогда вот чего – я начал вслух как бы разговаривать, с Олли. Я так делаю иногда, если совсем невпротык. Твержу ему, чтоб домой шел, брал велик и ждал меня перед домом Бобби Фэллона. Бобби Фэллон совсем недалеко от нас в Мэне жил – ну, то есть давно еще. В общем, там вот что было: однажды мы с Бобби собрались на великах на озеро Седебего. Хотели пожрать с собой взять, подушки – ну, мы ж пацаны и всяко-разно, думали, чего-нибудь из подушек настреляем. А Олли, короче, услышал, как мы договариваемся, и тоже захотел, а мы не взяли. Я ему сказал, что он еще мелкий. Поэтому теперь время от времени, когда мне сильно тоскливо, я ему все время повторяю: «Ладно. Дуй домой, бери велик и жди меня перед домом Бобби Фэллона. Чтоб пулей». Фигня не в том, что я его с собой не брал, когда сам ходил куда-нибудь. Я брал. А вот в тот день не взял. Он не разозлился – он никогда ни на что не злился, – только я все равно про это думаю, когда мне очень тоскливо.

Наконец, в общем, я разделся и залез в постель. Хотел помолиться или как-то, когда улегся, только не смог. Я не всегда могу молиться, если хочется. Во-первых, я вроде как ате-

ист. Иисус мне в струю и всяко-разно, а прочая фигня в Библии по большей части – фуфло. Взять Апостолов, к примеру. Сказать вам правду, они меня раздражают, как не знаю кто. Когда Иисус помер и всяко-разно, они еще ничего, а пока был жив, они Ему столько же пользы приносили, что дырка в башке. Только подставляли Его по-всякому. Мне в Библии почти все нравятся больше Апостолов. Если по правде, так больше всех после Иисуса в Библии мне нравится этот псих и всяко-разно, который в склепах жил и все камнями себя побивал. Мне этот гад в десять раз больше Апостолов нравится, бедолага. Я все время из-за него в свары ввязывался, когда в Вутоне учился, с тем пацаном, что дальше по коридору жил, с Артуром Чайлдзом. Этот Чайлдз был квакер и всяко-разно, и все время Библию читал. Нормальный такой пацан, мне он нравился, но вот как до фигни всякой в Библии дойдет – сразу с ним собачимся. Он все твердил, что мне если не нравятся Апостолы, то Христос и всяко-разно тоже не нравится. Говорит, любить их полагается потому, что Христос их сам *выбрал*. Я говорю: я знаю, что выбрал, но выбирал-то он их *наобум*. Говорю, у Него ж не было времени ходить и всех анализировать. Я Христа ни обвиняю, никак. Он же не виноват, что Ему времени не хватило. Помню, спросил этого Чайлдза, как он считает – Иуда, тот, что Христа предал и всяко, в Ад после самоубийства отправился или как? Чайлдз говорит: конечно. И вот тут как раз я с ним не согласился. Говорю: спорнем на тыщу, что Христос нико-

гда этого Иуду в Ад не сошлет. И сейчас спорнул бы, если бы тыща была. Я думаю, любой *Апостол* Иуду бы в Ад отправил и всяко-разно – да еще и вприпрыжку, – но на что угодно спорнуть, Христос бы так делать не стал. А этот Чайлдз говорит, у меня засада в том, что я в церковь не хожу или как-то. Тут он в каком-то смысле прав. Не хожу. Во-первых, штрики у меня разной веры, а все дети в семье – атеисты. Сказать вам правду, я священников даже не перевариваю. У тех, что в школах были, куда я ходил, у всех такие поповские голоса, когда проповеди свои читают. Господи, как же я их ненавижу. И нет бы нормальными голосами говорить. А то как пасть раскроют – такое фуфло.

Ладно, в общем, когда я лежал в постели, помолиться у меня ни шиша не вышло. Только начну, как прямо вижу: эта Солнышко меня нищевродом обзывает. Наконец я не выдержал, сел на кровати и выкурил еще сигу. На вкус – параша. Я, наверно, две пачки уже выкурил, как из Пенси свалил.

Вдруг ни с того ни с сего, пока я лежу там и курю, кто-то в дверь стучит. Я надеялся, что это не ко *мне* в дверь стучат, но все-таки мне отлично известно было, нафиг, что ко мне. Фиг знает, *откуда*, но знал. И *кто* там, тоже знал. Я телепат.

– Кто там? – спрашиваю. Я нехило так испугался. Ссыкун я насчет такой хреноты.

А там только снова постучали. Громче.

Наконец я слез с кровати в одной пижаме и открыл дверь. Даже свет включать не надо было, потому что уже день. Там

стояли эта Солнышко и Морис – субчик из лифта.

– Что такое? Вам чего надо? – говорю. Ух, а голос у меня дрожит, как я не знаю что.

– Да ничё особого, – говорит этот Морис. – Тока пятерку. – Он за них обоих разговаривал. Эта Солнышко только рядом стоит, рот разинув и всяко-разно.

– Я ей уже заплатил. Пятерку дал. Спросите сами, – говорю. Ух как же у меня голос-то дрожит.

– Десятка, шеф. Я ж те сказал. Десятка за палку, пятнашка до полудня. Я те грил.

– Вы не это мне сказали. Вы сказали *пятерку* зараз. Сказали, пятнадцать до полудня, – это да, но я отчетливо слышал, как вы...

– Рассупонивайся, шеф.

– Чего *ради*? – говорю. Ох, это сердце меня чуть из комнаты, нафиг, не выталкивало. Все-таки надо было хоть *одеться*, что ли. Жуть, когда стоишь в одной пижаме и какая-то вот такая хренота творится.

– Пошли, шеф, – говорит этот Морис. И толкает меня этой своей захезанной рукой. Я чуть на пердак не свалился – Морис этот огромный же, падла. А потом я и вякнуть не успел, как они с Солнышком уже в номере. Будто хозяева, нафиг. Эта Солнышко на подоконнике расселась. А Морис этот плюхнулся в кресло, растеребил себе воротничок и всяко-разно – он в лифтерской форме еще был. Ух как меня трясло.

– Лана, шеф, отстегивай. Мне на работу еще.

– Я ж вам раз десять сказал, я вам ни цента больше не должен. Я уже дал ей пятерку...

– Кончай херню пороть, ну? Отстегивай.

– Чего это ради я должен ей еще пять? – говорю. Голос у меня срывался и чуть по комнате не скакал. – Харэ меня трамбовать.

Этот Морис всю куртейку свою расстегнул. Под ней у него был этот фуфлыжный воротничок, а ни рубашки, ничего больше не было. Жирное волосатое пузо.

– Никто никого не трамбует, – говорит. – Отстегивай, шеф.

– Не буду.

Когда я это сказал, он встал с кресла и на меня пошел и всяко-разно. С таким видом, будто он сильно-сильно устал или ему сильно-сильно скучно. Ох как же я перессал. Еще помню, я как бы руки на груди сложил. А вообще все бы не так фигово, наверно, если б на мне этой, нафиг, *пижамы* не было.

– Отстегивай, шеф. – Он уже совсем ко мне подошел. За-ладил, как пономарь: «Отстегивай, шеф». Вот дебил.

– Не буду.

– Шеф, ты мя вынуждаешь из тя вышибить чутка. Я не хочу, но так похоже, – говорит. – Ты нам должен пятерку.

– *Ничего* я вам не должен, – говорю. – А будете вышибать, я заору как не знаю что. Всю гостиницу разбужу. Полиция и

всяко-разно. – Голос у меня дрожал, гадство.

– Валяй. Ори, нафиг, сколько влезет. Отлично, – говорит этот Морис. – Хочешь, чтоб предки узнали, как ты ночь со шлюхой тут барахтался? А еще приличный пацан такой? – Он вполне себе соображал, для хезушника-то. По-честному.

– Оставьте меня в покое. Если б вы *сказали* десятка, я б не рыпался. Но вы отчетливо...

– Не отстегнешь, значит? – Он меня, нафиг, совсем к двери прижал. Чуть не топтался по мне, с этим своим захезанным волосатым пузом и всяко-разно.

– Оставьте меня в покое. И убирайтесь, нахер, из моего номера, – говорю. А руки у меня по-прежнему сложены и всяко-разно. Господи, вот же я ушибок.

Тут Солнышко рот впервые раскрыла.

– Эй, Морис, – говорит. – Мне лопатник у него взять? Он у него там на как его там.

– Ага, давай.

– Оставьте мой бумажник в покое!

– Взяла уже, – говорит Солнышко. И помахала у меня перед носом пятеркой. – Видишь? Я у тебя только пятерку взяла, которую ты мне должен. Я не жулик.

И тут я вдруг разревелся. Что угодно бы отдал, только б не реветь, а заревел.

– Нет, – говорю, – вы не жулики. Вы только сперли у меня пять...

– Заткнись, – говорит этот Морис и пихает меня.

– Оставь его в покое, а? – говорит Солнышко. – Пошли уже, а? Долг взяли, капуста у меня. Пошли. Давай, ну?

– Иду, – говорит Морис. Только не пошел.

– Я серьезно, Морис, эй. Оставь его в покое.

– А я ж его рази пальцем? – спрашивает он, весь такой невинненький, как я не знаю что. А потом чего – потом он щелбан дал мне по пижаме, очень сильно. Не скажу *куда*, но больно было, как не знаю что. Я ему сказал, что он, нафиг, гнусный дебил.

– Это чё такое? – говорит. И ладонь к уху поднес, с понтом, глухой. – Чё? Кто я?

А я по-прежнему ну как бы реву. Зла, нафиг, не хватает, и колотит, и всяко-разно.

– Ты гнусный дебил, – говорю. – Ты тупое дебильное жулье, года через два на улице ты на кофе клянчить будешь, как все эти оборванцы. И все гнусное пальто у тебя будет в соплях, и ты будешь...

Тут он мне и двинул. Я даже ни дернулся, чтоб уклониться, ничего. Только чую, как он неслабо мне в живот заехал.

Но меня ни вырубил, ничего, потому что я помню, как лежу на полу, а они из номера выходят и дверь за собой закрывают. Я потом еще долго на полу лежал, как тогда со Стрэдлейтером. Только теперь я думал, что подыхаю. По-честному. Вроде как тону или чего-то. Засада в том, что не вздохнуть. Когда я наконец встал, в ванную пришлось тащиться скрючившись, я за живот держался и всяко-разно.

Только я же долбанутый. Ей-богу, долбанутый. Где-то на полдороге в ванную я как бы стал прикидываться, будто мне пулю в живот зафигачили. Это Морис меня подстрелил. И теперь я тащусь в ванную накатить бурбона или как-то, чтоб нервы успокоить и *по-честному* уже за дела приняться. Я прикинулся, как выхожу из ванной, весь такой при параде и всяко-разно, с пушкой в кармане, чуть покачиваюсь. Потом такой спускаюсь по лестнице – не на лифте. За перила держусь и всяко-разно, а из угла рта струйка крови по чуть-чуть. И чего делаю – спускаюсь так на несколько этажей, кишки придерживая, кровяца кругом, а потом жму кнопку лифта. И только этот Морис открывает двери, как видит меня с пушкой и давай визжать этим своим ссыкливым голоском, чтоб его оставили в покое. Но я ему все равно всажу. Шесть выстрелов, прямо в жирное волосатое пузо. Потом швырну пушку в шахту лифта – стерев сначала пальчики и всяко-разно. Затем доползу до номера, позвоню Джейн и попрошу приехать и перевязать мне кишки. Я так и видел ее: сигу мне подносит, чтоб я покурил, пока из меня кровь хлещет и всяко-разно.

Кино, нафиг. От него вся херня. Без балды.

В ванной я просидел где-то час – в ванне и всяко-разно. Потом обратно до кровати доплелся. Уснуть сразу не получилось – я ж даже не устал, – но уснул наконец. Хотя лучше всего было б вот чего – в жилу было бы покончить с собой. Хоть в окошко прыгай. И прыгнул бы, наверно, кабы точно

знал, что меня сразу чем-нибудь накроют, как приземлюсь. Не в жилу, если толпа дурацких глазолупов стоит и пялится, когда от меня одна каша.

15

Спал я недолго, потому что когда проснулся, было всего часов десять. Как только выкурил сигу, мне тут же захотелось жрать. В последний раз я зачикал те два гамбургера с Броссаром и Экли, когда мы в Эйджерстаун в кино ездили. Давно. Чуть не полвека назад. Телефон стоял рядом, поэтому я стал было звонить, чтоб завтрак в номер принесли, но как бы испугался, что его пришлют с этим Морисом. Вы долбанулись, если думаете, будто я по нему соскучился. Поэтому я полежал немного в постели и выкурил еще сигу. Решил было звякнуть этой Джейн, проверить, может, она уже дома и всяко-разно, только что-то мне было не в струю.

Я поэтому чего – я этой Сэлли Хейз звякнул. Она ходила в Мэри А. Вудрафф, и я точняк знал, что она уже дома, – я ж от нее письмо получил пару недель назад. Она мне, конечно, не сильно в струю, но мы много лет знакомы. Я раньше думал, что она вполне себе такая сечет, – по собственной глупости думал. Все потому, что Сэлли много чего знает про театр, пьесы и литературу, да и о прочей всякой фигне. Если кто-нибудь про такую хрень много знает, сильно не сразу просечешь, дура она или нет. У меня много *лет* ушло в

случае Сэлли. Наверно, и раньше бы просек, если б мы с ней так много, нафиг, не обжимались. У меня большая засада в том, что я вечно думаю, будто эта, с кем я обжимаюсь, нормально сечет. Оно тут, нафиг, совсем ни при чем, только я все равно так думаю.

Ладно, в общем, я ей звякнул. Сначала горничная ответила. Потом ее штрик. Потом она подошла.

– Сэлли? – говорю.

– Да, а кто это? – отвечает. Та еще фуфлыжница. Я уже ее штрику сказал, кто это.

– Холден Колфилд. Ты как?

– Холден! Я прекрасно! Как ты?

– Шикарно. Слышь. Ладно, ты вообще-то как? В смысле, как школа?

– Отлично, – говорит. – Ну то есть – сам знаешь.

– Шикарно. В общем, слышь. Я тут подумал – ты сегодня как, занята? Сегодня воскресенье, но по воскресеньям пара дневных спектаклей есть. Скидки и прочая фигня. Не против сходить?

– Было б здорово. Славно.

Славно. Я одно слово не перевариваю – «славно». Фуфлю. Меня какую-то секунду подмывало сказать ей, что ну его нафиг, этот дневной спектакль. Но мы еще сколько-то потрындели. То есть она трындела. Там слово вставить – никак. Сначала она мне задвигала про какого-то типа из Харварда – может, салага какой, этого она, само собой, не сказала, – ко-

торый залип на ней, как я не знаю что. Звонит ей *день и ночь*. День и ночь – тут я чуть не сдох. Потом рассказала про какого-то другого типа, какого-то кадета из Уэст-Пойнта²², который из-за нее тоже чуть в петлю не лезет. Куда деваться. Я ей сказал, что встретимся под часами «Билтмора» в два, и чтоб не опаздывала, потому что начало, скорее всего, в полтретьего. Она вечно опаздывает. Потом повесил трубку. С ней сплошной геморрой, но она очень симпатная.

С этой Сэлли я договорился, слез с кровати, оделся и упаковался. Только перед тем, как выходить, поглядел в окно, как там извращенцы поживают, но у всех шторы были задернуты. По утрам они просто сама скромность. Затем спустился на лифте и выписался. Этого Мориса нигде было не видеть. Я, само собой, искать его сломя голову не кинулся, гада.

Возле гостиницы я поймал мотор, а куда, нахер, ехать – фиг поймешь. Некуда мне ехать. Только воскресенье, а домой до среды никак, ну, на *крайняк* уж – до вторника. В другую гостиницу – не в струю, чтоб там башку мне проломили. Поэтому я чего – я говорю водиле, отвезите меня на вокзал Гранд-Сентрал. Он совсем рядом с «Билтмором», где мы с Сэлли потом встречаемся, и я прикинул, что вот как сделаю – сдам чемоданы в ячейку такую, от которой ключи дают, а потом позавтракаю. Я вроде как проголодался. Пока ехали, я

²² Уэст-Пойнт – высшее военное училище Сухопутных войск США. Находится в г. Уэст-Пойнт, штат Нью-Йорк, основано в 1802 г.

вытащил лопатник и гроши свои пересчитал. Не помню точно, сколько у меня оставалось, но не целое состояние или как-то. Я до фигища всего за две какие-то недели спустил. По-честному. Я в душе, нафиг, транжира. Что не трачу, то прощелкиваю. Куда ни кинь, сдачу забрать забываю – в ресторанах и ночных клубах, и всяко-разно. Предки просто на стенку лезут. И правильно, в общем. Хотя штрик у меня и богатенький. Не знаю, сколько он там зашибает, – он про такое со мной никогда не заговаривал, – только я прикидываю, что дофига. Он корпоративный юрист. А эти ребята гроши лопатой гребут. Еще почему я знаю, что у него гроши водятся, – он вечно их вкладывает в бродуэйские постановки. Только те вечно проваливаются, и штруня моя просто рвет и мечет, когда он опять вкладывает. Она не очень здоровая у меня после того, как братец Олли помер. Нервная очень. Вот еще почему мне как не знаю чего не хотелось, чтоб она знала про мой выпуль.

Я сложил чемоданы в такую ячейку на вокзале, а потом зашел в эту бутербродную и позавтракал. Плотный вышел завтрак – для меня то есть: апельсиновый сок, яичница с беконом, гренки и кофе. Обычно я только сок пью. Я вообще малоед. По-честному. Потому и такой, нафиг, тощий. Мне надо на диете сидеть, когда жрешь только крахмал и прочую херню, чтоб вес набрать, но я этого никогда не делал. Если хожу куда-нибудь, лопаю только бутер со швейцарским сыром да солодовым молоком запиваю. Жидковато, конечно,

только в солодовом молоке куча витаминов. Я известен как Х. К. В. Холден Колфилд, он же Витамин.

Пока я разбирался с яичницей, заходят две такие монашки с чемоданами и всяко-разно – я прикинул, в другой монастырь переезжают или как-то и ждут поезда – и садятся рядом возле стойки. Видать, ни шиша не секли, куда им девать чемоданы, поэтому я им помог. Чемоданы такие сильно дешевые на вид – ни из настоящей кожи, никак. Не важно, я знаю, но я терпеть не могу, когда чемоданы у кого-то дешевка. Говорить так – жуть, конечно, только я человека возненавижу запросто даже с первого *взгляда*, если у него чемоданы дешевка. Было дело раз. Одно время, пока я ходил в Элктон-Хиллз, я жил в комнате с этим пацаном, Диком Слэглом, и у него были очень дешевые чемоданы. Он их под кроватью держал, а не на стойке, чтоб никто не видел их рядом с моими. У меня, нахер, такая тоска от них была, что страшно, и мне все хотелось свои выкинуть или как-то – или даже *поменяться* с ним. Мои-то от «Марка Кросса»²³, из настоящей воловьей кожи и прочая херня, и стоили, наверно, не два пенни. Только вот что умора. Вот чего тогда было. Я чего – я в конце концов *свои* чемоданы *себе* под кровать запихал, чтоб на стойку не выставлять, а то у этого Слэгла, нафиг, комплекс неполноценности разовьется. А он вот чего.

²³ «Марк Кросс» – американский производитель дорогого и качественного багажа и кожаных изделий. Компания основана в Бостоне в 1845 г. Генри Кроссом, который назвал ее в честь своего сына Марка У. Кросса, унаследовавшего отцовское дело. Первый фирменный магазин в Нью-Йорке открылся в 1872 г.

На следующий день взял их, вытащил и обратно на стойку заволок. А зачем — я только потом докопался: он, оказывается, хотел, чтобы все думали, будто мои чемоданы — это его. По-честному. Забавный типус в этом смысле. Вечно гадости про них какие-нибудь отпускал, например, про мои чемоданы. Слишком, говорит, новые и буржуазные. Это у него, нафиг, любимое слово было. Где-то вычитал или услышал. Что бы я ни делал — все буржуазно, как не знаю что. Даже авто-ручка у меня буржуазная. Он у меня ее постоянно клянчил пописать, но все равно буржуазная. Вместе мы прожили где-то месяца два. А потом оба запросились, чтоб нас расселили. А самая умора вот чего: когда мы разъехались, я как-то даже скучать по нему стал, потому что у него чувство юмора неслабое и вместе нам было иногда сильно зашибись. Не удивлюсь, если меня ему тоже не хватало. Сначала он как бы не по серьезу фигню мою буржуазной называл, и мне надристать было — ну *смешно* же, в самом деле. А потом через некоторое время уже видно было — это он не шутит. Фигня в том, что очень не в струю жить с кем-то в одной комнате, если у тебя чемоданы сильно лучше его — если у тебя они по *правде* хорошие, а у него нет. И можно подумать, раз он чего-то сечет и всяко-разно, человек этот, и у него неслабое чувство юмора, ему тогда надристать, у кого чемоданы лучше, только ему не надристать. По-честному. Потому, например, мне и приходилось с такими тупыми гадами, как Стрэдлейтер. У них, по крайней мере, чемоданы не хуже

моих.

Ладно, в общем, уселись эти две монашки рядом, и мы с ними как бы разговорились. У той, что совсем рядом сидела, была такая плетеная корзинка, вроде тех, в которые монашки и шмары из Армии Спасения гроши под Рождество собирают. Стоят на всех перекрестках, особенно на Пятой авеню, перед здоровыми универмагами и всяко-разно. В общем, та, что рядом сидела, корзинку на пол уронила, а я нагнулся и поднял. Спрашиваю, на благотворительность собирают или как. Она говорит, нет. Просто в чемодан не влезла, поэтому надо ее отдельно носить. Когда монашка на меня смотрела, у нее была ничего так себе улыбка, нормальная. Шнобель здоровый только, и очки такие, в железной вроде как оправе – ни шиша не красивые, но лицо зашибись какое доброе.

– Я подумал, если вы пожертвования собираете, – говорю я, – то я бы мог чего-нибудь дать. А деньги вы оставите на потом, когда будете собирать.

– О, как это любезно с вашей стороны, – говорит она, а вторая, подруга ее, на меня поглядела. Эта черную книжечку такую читала, пока пила кофе. Книжечка похожа на Библию, но тощая. Только все равно вроде Библии. А завтракали они обе одними гренками с кофе. Мне аж тоскливо стало. Терпеть не могу, когда сам жру яичницу с беконом, а кто-то другой – одни гренки с кофе.

Они мне разрешили, в общем, пожертвовать десятку. И все допрашивали, уверен ли я, что могу себе это позволить

и всяко-разно. Я им сказал, что у меня при себе денег полно, только они мне, видать, не поверили. Хотя гроши потом взяли. Обе меня так благодарили, что просто неудобняк. Я перевел разговор на общие темы и спросил, куда они едут. Они ответили, что преподают в школе, только с поезда из Чикаго и будут училками в каком-то монастыре на 168-й или на 186-й – или где-то там, в порядочной заднице в общем. Та, что со мной рядом сидела, в железных очках, сказала, что ведет английский, а подруга ее – историю и американское государственное управление. Тогда я, как последний гад, стал думать: вот она, которая рядом сидит, английский ведет – о чем она думает, монашка же и всяко-разно, когда кое-какие книжки для своих уроков читает. Там, конечно, не обязательно кто-нибудь друг друга приходит, но есть же любовники и всяко-разно. Скажем эта Юстасия Вай в «Возвращении на родину» Томаса Харди. Ни слишком симпатная, ничего, но даже так интересно, чего может думать монашка, если читает себе про эту Юстасию. Хотя, естественно, я ничего не сказал. Сказал только, что английский у меня – лучший предмет.

– Ох, правда? Ой, я так рада! – говорит очкастая, которая английский ведет. – А что вы прочли в этом году? Мне очень интересно. – Ничего она, очень нормальная такая.

– Ну, мы по большей части англосаксов проходили. «Беовульфа», и этого Гренделя, и «Лорд Рэндэл, мой сын» и всякое такое. Но время от времени внеклассные книжки читать

тоже надо, чтоб оценка выше была. Я читал «Возвращение на родину» Томаса Харди, и «Ромео и Джульетту», и еще «Юлия...»

– О, «Ромео и Джульетта»! Какая прелесть! Вам же понравилось, да? – Не сильно-то она и на монашку смахивала, когда это сказала.

– Да, понравилось. Очень сильно. Там кое-что мне, правда, не понравилось, но в целом очень трогательная.

– А что вам там не понравилось? Не припомните?

Сказать вам правду, говорить про «Ромео и Джульетту» с ней было как-то неудобняк. В смысле, пьеса же местами вполне себе жаркая такая, а она – монашка и всяко-разно, но она ж *сама* меня спросила, поэтому мы с ней немного про пьесу поговорили.

– Ну, Ромео и Джульетта мне как-то не очень, – говорю. – В смысле, они мне нравятся, только... не знаю. Иногда они сильно достают. В смысле, мне гораздо жальче было, когда этого Меркуцио грохнули, чем Ромео и Джульетту. Штука в том, что мне Ромео никогда особо не нравился после того, как Меркуцио зарезал этот второй, кузен Джульетты, как его...

– Тибальт.

– Ну да, Тибальт, – говорю – я постоянно имя этого типа-са забываю. – Это Ромео виноват. В смысле, мне он в пьесе больше всех понравился, Меркуцио этот. Фиг знает. Все эти Монтекки и Капулетти – они нормальные, особенно Джу-

льетта, но Меркуцио, он... трудно объяснить. У него котелок нормально варит, и он смешной, и всяко-разно. Тут штука в том, что я просто с катушек слетаю, если кого-то убивают, — особенно если кто с таким-то котелком, и смешной, и всяко-разно, и если виноват кто-то другой. Ромео и Джульетта — это они сами и виноваты.

— А вы в какой школе учитесь? — она меня спрашивает. Наверно, хотела съехать с темы Ромео и Джульетты.

Я сказал, что в Пенси, — она про нее слыхала. Очень хорошая, говорит, школа. Я не стал прикапываться. А потом другая, что историю и государство ведет, сказала, что им уже лучше двигаться. Я забрал их счет, только они заплатить мне по нему не дали. Очкастая отобрала.

— Вы и так были более чем щедры, — говорит. — Вы очень милый мальчик. — Вполне нормальная такая. Чутьку напомнила мне штрünü этого Эрнеста Морроу — ту, что в поезде была. Главным образом когда улыбалась. — Мы с *таким* удовольствием с вами побеседовали, — говорит.

Я сказал, что с ними тоже побеседовал с удовольствием. Без балды. Правда, мне б еще больше понравилось, наверно, если б я все время, что мы там сидели, вроде как не боялся, вдруг ни с того ни с сего начнут выпытывать у меня, вдруг я католик. Католики всегда стараются докопаться, католик ты или нет. Со мной такое постоянно, я знаю, отчасти потому, что фамилия у меня ирландская, а большинство народу из Ирландии — католики. На самом деле, штрик у меня одно

время и *был* католик. Только бросил, когда на штруне женился. Но католики всегда выведывают, не католик ли ты, даже если им фамилию не говоришь. Я знал одного такого пацана-католика, Луи Шейни, когда в Вутон ходил. Там я с ним с первым познакомился. Мы сидели под самой дверью, нафиг, лазарета в самый первый день школы, ждали медосмотра и как-то разговорились про теннис. Он ничего так себе теннисом интересовался, я тоже. Сказал мне, что каждое лето ездит на национальный турнир в Форест-Хиллз, я говорю: я тоже, – и потом мы с ним нехило долго болтали про разных фертов-теннисистов. Он нормально так про теннис знал для своего возраста. По-честному. А потом, немного погодя, прямо посреди, нафиг, разговора он меня спрашивает: «А ты, случайно, не заметил – тут где-нибудь в городе костел есть?» Фигня в том, что сразу видно по тому, как он спросил, – это он пытается выяснить, не католик ли я. По-честному. Не то что у него там предубеждение или как-то, но ему просто хотелось знать. Ему нравилось болтать про теннис и всяко-разно, только сразу видать, ему бы это *больше* понравилось, если б я был католик и всяко-разно. Рехнуться легче от такой хреноты. Я не хочу сказать, что он нам беседу испортил, – ни фига, но это ее, нахер, и не украсило. Потому я и обрадовался, что эти монашки не стали меня спрашивать, католик я или нет. Спросили бы – разговор бы, наверно, не *испортили*, но все было бы по-другому наверняка. Я не хочу сказать, что католики *виноваты*. Еще чего. Я б сам, навер-

но, такой был, будь я католик. Это как с теми чемоданами, про которые я вам рассказывал. Просто хочу сказать, что для нормальной беседы это невяпротык. Вот и все.

А когда они встали, монашки эти, я сделал такую дурь и неудобняк. Я курил сигу, и когда встал, чтоб им «до свиданья» сказать, случайно дымом в них дунул. Не хотел, но получилось. Извинялся, конечно, как полоумный, а они очень вежливо и нормально так говорили, что ничего страшного, но все равно очень неудобняк.

Они ушли, и я сразу пожалел, что дал им всего десятку на их благотворительность. Фигня еще в том, что я про свиданку с этой Сэлли Хейз договорился и мне гроши нужны были на билеты и прочую хрень. Хотя все равно жалко. Нахер бы эти гроши. От них всегда такая тоска берет.

16

Когда я дозавтракал, времени было всего где-то полдень, а с этой Сэлли у меня встреча в два, поэтому я просто пошел гулять. Эти две монашки у меня никак из головы не лезли. Я все думал про битую плетеную корзинку, с которой они ходят и гроши собирают, когда не в школе. Все пытался прикинуть мою штруню, или чью-нибудь, или мою тетку, или долбанутую штруню Сэлли Хейз – как они стоят где-нибудь возле универмага и собирают гроши для бедных в такую битую плетеную корзинку. Трудно себе такое прикидывать. Не

столько мою штруню, сколько тех двух. Тетка у меня так ничего филантропка – в Красном Кресте сильно участвует и всяко-разно, – только она слишком расфуфыренная и все дела, а как на благотворительность соберется, всегда наряжается, помадой мажется и прочей херней. Ей, наверно, не до благотворительности никакой, если надо в черное одеваться и без всякой помады. А эта штруня Сэлли Хейз. Господи ты боже мой. Да она с корзинкой станет гроши собирать, только если все благотворители ее в жопу целовать будут. А если просто гроши в корзинку бросать и потом уходить, и ни слова ей не говорить, просто не обращать на нее внимания и всяко-разно, она ж через час бросит это дело. Ей станет скучно. Отдаст корзинку и пойдет обедать в какую-нибудь модную рыгаловку. Вот что мне в этих монашках понравилось. Видно, во-первых, что ни в какие модные рыгаловки они не ходят обедать. Мне так убого сделалось, когда я про это подумал, – что никуда они модно обедать не ходят, ничего. Я знаю, что это не важно, но мне все равно было как-то убого.

Я двинул к Бродуэю – просто так, от нефиг делать, потому что я там много лет уже не был. Кроме того, мне музыкальный магаз хотелось найти, чтоб в воскресенье работал. Я там одну пластинку Фиби хотел подарить, называется «Малютка Ширли Бинз». Очень трудно ее найти. Там про одну малявку, которая не хочет выходить из дому, потому что у нее выпали два передних зуба и ей стыдно. Я эту пластинку в Пенси

слышал. Она у пацана на другом этаже была, и я хотел у него ее прикупить – я знал, что Фиби она вырубит, – только он продавать не хотел. Очень старая такая, неслабая пластинка – там поет эта цветная девка, Эстелль Флетчер, лет двадцать назад записали. Такой сильно дикиленд с борделем и совсем не слюняво звучит. Если б белая девка пела, у нее б звучало, как я не знаю что, *миленько*, а эта Эстелль Флетчер знает, как, нахер, надо, – мне мало таких хороших пластинок попадалось. Я прикинул, что куплю ее в каком-нибудь магазине, что в воскресенье работает, и притащу в парк. Сегодня воскресенье, а по воскресеньям Фиби вполне себе часто ходит в парк кататься на роликах. Я знал, где она почти всегда шибается.

На улице была не такая холодрыга, как вчера, но солнце еще не высунулось, и гулять было не очень в жилу. Одно хорошо. Идет передо мной семейство такое – сразу видно, только из церкви: папа, мама и мелкий лет шести. На вид как бы небогатые. На штрике такая жемчужно-серая шляпа, которые бедные носят обычно, если хотят круто выглядеть. Они с женой просто идут, разговаривают, на мелкого ноль внимания. А мелкий – шикарный просто. Идет по дороге, не по тротуару, хоть и возле самого бордюра. Идет – рисуется, будто по линеечке, как обычно пацаны делают, и все время поет и мычит чего-то. Я – поближе, расслышать, чего он там поет. И песня оказалась – «Если кто ловил кого-то

сквозь густую рожь»²⁴. И голосок у него симпатичный такой. Сразу видать – поет просто так, от нефигов делать. Мимо машины несутся, тормоза где ни попадя скрежещут, штрики ноль внимания, а он идет себе возле самого бордюра и поет «Если кто ловил кого-то сквозь густую рожь». Мне аж по-лучше-ло. Стало уже не так тоскливо.

На Бродуэе – толпа и грязь. Воскресенье, полдень всего, а уже толпа. Все в кино рулят – в «Парамаунт», или в «Астор», или в «Стрэнд», или в «Кэпитол», или еще, нафиг, куда. Все расфуфыренные, потому что воскресенье, и от этого еще фиговее. Только хуже всего, что сразу видно: им *хочет-ся* в кино. Глаза б мои на них не глядели. Я понимаю, когда ходят в кино, потому что больше заняться нечем, но если кто по-честному в кино *хочет* – и даже торопится, чтоб только дойти побыстрее, – меня тоска берет, как хер знает что. Особенно если вижу, как миллион народу давится в этих жутких очередях, что весь квартал опоясывают, ждут билетов с неслабым таким терпением и всяко-разно. Ух, скорей бы с этого, нафиг, Бродуэя уже свалить. Мне повезло. В первом же музыкальном магазине «Малютка Ширли Бинз» оказалась. За нее с меня содрали пятерку, потому что она такая редкая, но плевать. Ух, тут ни с того ни с сего мне вдруг сильно по-лучше-ло. Скорей бы уж в парк, что ли, поглядеть, пришла ли Фиби, да пластинку ей отдать.

²⁴ Парафраз строк из стихотворения (1782) шотландского поэта Роберта Бёрнса (1759–1796), пер. С. Маршака (опубл. 1941).

Вышел из магази́на, и тут – аптека, и я туда зашел. Прикинул, может, этой Джейн звякнуть, узнать, на каникулах она уже или нет. В общем, захожу в кабинку и ее набираю. Засада только в том, что трубку сняла ее штруня, поэтому я сразу повесил. Не в жилиак мне с ней разводить долгие базары и всяко-разно. Мне вообще не в струю с предками девок по телефону разговаривать. Хотя на крайняк можно было спросить, дома Джейн или нет. Не сдох бы. Но все равно не в жилу. Для такого нужно настроение.

Мне еще надо было эти, нафиг, билеты брать, поэтому я купил газету и посмотрел, где что идет. Только раз воскресенье, было всего где-то три спектакля. Поэтому я чего – я пошел и взял два билета в партер на «Я знаю, что люблю»²⁵. Бенефис или как-то. Мне смотреть его не очень-то в жилу было, только я знал, что эта Сэлли, королева фуфла, вся просто на слюни изойдет, когда я скажу, на что взял билеты, потому что там Лунты²⁶ играют и всяко-разно. Ей такие постановки нравятся, хитровывернутые, суховатые, чтоб с Лунтами и всяко-разно. Мне нет. Мне вообще постановки не очень в жилу, сказать вам правду. Не так фигово, как кино, только

²⁵ «Я знаю, что люблю» – лирическая комедия американского драматурга и театрального продюсера Сэмюэла Натаниэла Бермана (1893–1973), действие которой происходит в особняке семейства Чэнлеров в Бостоне с 1888 по 1939 г. Пьеса шла в театре «Шуберт» в Нью-Йорке со 2 ноября 1949-го по 3 июня 1950 г.

²⁶ Алфред Лунт (1892–1977) и Линн Фонтанн (1887–1983) – американский актерский дуэт и семейная пара (с 1922), считались ведущими бродвейскими артистами своего времени.

умом двигаться все равно не с чего. Во-первых, я ненавижу актеров. Они себя никогда не ведут как люди. Только думают, что похоже. Есть неслабые, конечно, у которых чутка похоже, но смотреть на такое все равно невпротык. А если актер и впрямь неслабый, всегда видать, что он *знает*, какой он неслабый, а это все портит. Взять, к примеру, сэра Лоренса Оливье. Я смотрел его в «Гамлете»²⁷. Нас с Фиби в прошлом году Д. Б. водил. Сначала накормил обедом, а затем повел. Он уже картину видал, и после того, как он про нее рассказывал за обедом, мне захотелось ее поглядеть, как не знаю что. Только не сильно в жилу оказалось. Я просто не понимаю, что такого здоровского в сэре Лоренсе Оливье, только и всего. У него неслабый голос, и он типус симпотный, как не знаю что, и еще на него очень нормально смотреть, когда он ходит или там сражается, или как-то, но Гамлет у него совсем не такой, как про него Д. Б. рассказывал. Слишком, нафиг, на генерала какого-то смахивает, а не на убогого такого попутавшего парнягу. Самое нормальное во всей картине было, когда брательник этой Офелии – тот, что с Гамлетом в самом конце в дуэль ввязался, – куда-то отваливает, а штрик ему кучу советов дает. И пока там предок нотации ему читает, эта Офелия знай себе с брательником валяет дурака – вытаскивает кинжал ему из ножен, дразнит его и всяко-раз-

²⁷ Имеется в виду экранизация трагедии Шекспира (1948), поставленная английским актером и режиссером Лоренсом Оливье (1907–1989), с ним же в главной роли.

но, а он тем временем изо всех сил вникает той туфте, которую штрик ему вжевывает. Вот это нормально было. Мне зашибись. Но такой хреноты там немного. А Фиби понравилось только, когда Гамлет собаку по голове гладит. Ей такое было смешно и нормально, да и вообще оно смешно и нормально. Мне вот чего надо будет – мне надо пьесу почитать. У меня засада в том, что всегда нужно такую фигню читать самому. Если ее актер изображает, фиг ли мне его слушать. Я сижу и каждую минуту дергаюсь, что он фуфло какое-нибудь задвинет.

Я взял билеты на спектакль Лунтов, а потом на моторе поехал в парк. Надо было на метро или как-то, потому что гроши уже на подсосе, только мне хотелось с этого, нафиг, Бродуэя поскорей свалить.

В парке было паршиво. Не очень дубарно, только солнце еще не проглянуло, и в парке вроде как ничего и не было, кроме собачьих говняшек, харчков да еще сигарные бычки после дедов всяких, а у всех скамеек такой вид, будто сядешь на них – а они мокрые. От этого тоска такая, да еще ни с того ни с сего время от времени – мурашки по коже, когда идешь. Вообще не похоже, что скоро Рождество. Или вообще что-нибудь скоро. Но я все равно двигался к Эспланаде, потому что Фиби, когда в парке, туда ходит все время. Ей нравится там кататься возле эстрады. Умора. Я когда пацаном совсем был, мне тоже там в жилик было кататься.

Только я добрал туда, а ее нигде видно не было. Какая-то

мелюзга шастала – катались на роликах там и всяко-разно, а два пацана играли софтболом в «свечку», а Фиби нет. Сидит, правда, одна малявка где-то Фибиных лет на скамейке, сама по себе, ролик затягивает. Я прикинул, может, знает Фиби и скажет мне, где она, или как-то, и я подошел, сел рядом и спрашиваю:

– Ты, случайно, не знаешь Фиби Колфилд?

– Кого? – говорит. А на ней только джинсики и сверху штук двадцать свитеров. Сразу видно – ей их штруня связала, потому что здоровые такие и топорщатся.

– Фиби Колфилд. Живет на 71-й. В четвертый класс ходит, в...

– А вы знаете Фиби?

– Ну, я ее брат. Не знаешь, где она?

– У нее мисс Коллон училка, да? – спрашивает малявка.

– Фиг знает. Ну, наверно.

– Она тогда, наверно, в музее. *Мы* туда в субботу ходили, – говорит.

– В каком музее? – спрашиваю.

Малявка плечами пожала – ну как бы.

– Не знаю, – говорит. – В музее.

– Я понял, но там, где картины, или там, где индейцы?

– Где индейцы.

– Большое спасибо, – говорю. Встал и пошел, но тут вспомнил, что сегодня воскресенье. – Сегодня ж воскресенье, – говорю малявке.

Она смотрит на меня:

– А. Ну тогда не там.

Неслабо она старалась ролик себе затянуть. У нее ни перчаток не было, ничего, а руки все красные и замерзли. Я ей помог. Ух, сто лет уже ключа от роликов в руки не брал. Но ничего так на ощупь, нормально. Мне ключ такой дашь лет через полста, в темноте – и я все равно пойму, чего это такое. Она мне спасибо сказала и всяко-разно, когда я ей все там подтянул. Нормальная такая, вежливая малявка. Ей-богу, в жилу, когда малявка нормальная и вежливая, если ей ролик затягиваешь или как-то. Они почти все такие. По-честному. Я спросил, может, она горячего шоколаду со мной выпьет или еще чего, а она говорит: нет, спасибо. Ее подружка ждет. Малявок всегда какие-нибудь подружки ждут. Сдохнуть можно.

Хоть воскресенье, и Фиби с классом, или как-то все равно там ни было, а на улице такая мокрятина и погань, я пошел через весь парк к Музею естествознания. Это про него малявка с ключом от роликов говорила. Всю эту маету с музеем я как свои пять пальцев знаю. Фиби в ту же школу ходит, что и я, когда был пацаном, а нас туда постоянно таскали. У нас эта училка была, мисс Эглитинджер, так она почти каждую субботу нас туда загоняла. Иногда мы зырили животных, а иногда ту фигню, что индейцы в древности делали. Горшки и плетеные корзинки и прочую хренотень. Мне просто зашибись становится, когда я про это думаю. Даже теперь. Пом-

ню, как посмотрим всю эту индейскую фигню – идем глядеть кино какое-нибудь в таком большом у них зале. Про Колумба. Там все время показывали, как Колумб Америку открывает, неслабо так напрягается, чтоб эти Фердинанд с Изабеллой грошей ему на корабли дали, а потом матросы против него бунтуют и всяко-разно. На этого Колумба-то всем было надристать, у всех с собой куча леденцов, и жвачки, и всякой фигни, а в зале там всегда нормально пахло. Такой все время запах, будто снаружи дождь идет, хоть там и не шло ничего, а ты сидишь в сухом уютном месте, и оно – одно такое нормальное место на свете. В жилу мне этот музей, нафиг. Помню, в кино идти надо было через Индейский зал. Длинный-длинный такой, там только шепотом можно. Первой училка идет, за ней остальные. Двумя рядами, и у каждого своя пара. У меня почти всегда парой та девка была, звали Гертрудой Левин. Ей вечно хотелось за руку держаться, а рука у нее всегда липкая, или потная, или как-то. Пол там весь каменный, и если у тебя в руке стеклянные шарики и ты их уронишь, они по всему полу как ненормальные скакать начинают, и треск стоит, как я не знаю что, а училка тогда весь класс останавливает и возвращается узнать, что там творится. Но эта мисс Эглитинджер никогда не злилась. Потом проходили возле здорового такого, длинного военного каноэ, как три, нафиг, «кадиллака» в длину, и в нем штук двадцать индейцев: кто-то гребет, кто-то стоит просто и крутого изображает, а на мордах у всех боевая раскраска. Там на

корме в каное сидел один жуткий типус в маске. Шаман. От него у меня волосы дыбом вставали, только мне он все равно нравился. И еще фигня: если идешь мимо и чего-нибудь тронешь, весло или чего-то, кто-нибудь из зрителей тебе говорит: «Дети, ничего не трогайте», – только нормально так всегда говорит, не как фараон, нафиг, ничего. Дальше там была здоровая такая стеклянная витрина, а внутри индейцы палочки трут, чтоб костер развести, а скво ткет одеяло. И ткет она его, как бы нагнувшись, поэтому у нее буфера видать и всяко-разно. Мы все туда косяка хорошенько давили, даже девчонки, потому что они ж еще малявки, и буферов у них не больше, чем у нас. А потом, сразу перед входом в кино, возле самой двери там сидел такой эскимос. Над прорубью во льду на озере, ловил рыбу. Рядом с прорубью у него штуки две рыбины лежало – их он уже поймал. Ух, в этом музее просто сплошь стеклянные витрины. А наверху еще больше, там внутри олени пьют на водопое и птицы летят на юг зимовать. Те птицы, что поближе, – чучела, на проволоках висят, а те, что в глубине, – на стене нарисованы, только все равно похоже, что они по правде летят на юг, а если шею вывернуть и посмотреть на них как бы кверху ногами, похоже, что на юг они еще сильнее торопятся. А лучше всего в этом музее, что все стоит всегда там же, где раньше. Никто не дрыгнется. Хоть сто тыщ раз приходи, а эскимос этот все так же поймал тех двух своих рыбин и сидит, птицы все так же летят на юг, а олени пьют на этом своем водопое, и рога

у них все такие же приятные, а ноги тощие и тоже ничего, а скво с голыми буферами все так же ткет то же самое одеяло. Никто не поменяется. Поменяешься только *ты*. Не старше станешь или как-то. Дело, в общем, не в этом. Просто будешь другой, вот и все. В этот раз придешь в пальто. Или у твоей прошлой пары теперь скарлатина, и у тебя другая пара. Или вместо мисс Эглитинджер пришлют замену. Или услышал, как штрики жутко ругаются в ванной. Или пройдешь мимо такой лужи на улице – а там бензиновые радуги. В смысле – почему-нибудь *другой* будешь, я тут не очень могу объяснить. А если б даже мог, фиг знает, все равно как-то не в струю.

Я, пока шел, вытащил из кармана кепарь свой и надел. Ясно, что никого знакомого не встречу, а на улице мокро. Я все шел себе и шел, и все думал, как Фиби такая ходит в музей по субботам, как и я раньше ходил. Как она видит ту же фигню, которую я видел, и как *она* каждый раз другая, когда ее видит. Не вполне тоска мне так думать было, конечно, да только и веселого, нахер, тоже мало. Есть такая фигня, которой лучше не меняться. Чтоб можно было засунуть в такую здоровую стеклянную витрину и оставить в покое. Я знаю, так не бывает, но все равно очень жалко. В общем, я про все это шел и думал.

А возле детской площадки остановился и поглядел, как пара совсем карапузов на доске качается. Один вроде как такой толстый, поэтому я рукой подпихнул с конца другого,

тощего, чтоб вес по-честному распределялся, но сразу было видно: они со мной не хотели, – поэтому я пошел дальше.

А потом такая вот фигня приключилась. Добрел я до музея, как вдруг ни с того ни с сего понял, что не зайду в него даже за миллион. Ну вот невпротык мне стало – после того, как я через весь, нафиг, парк протелепал, так старался и все такое. Если б Фиби там была, я б, наверно, и зашел, но ее ж там не было. Поэтому я чего – я перед музеем поймал мотор и поехал к «Билтмору». Не очень в струю было ехать. Но я ж про свиданку, нафиг, с Сэлли уже договорился, так что нечего.

17

Я рано пришел, поэтому сел там на такую кожаную кушетку возле самых часов в вестибюле и стал смотреть на девок. В куче школ уже всех на каникулы распустили, и там сидело и стояло где-то миллион девчонок – ждали, когда ухажеры появятся. Девчонки с ногой на ногу, и без ноги на ногу, и с неслабыми ногами, и с паршивыми ногами, и девчонки на вид как шикарные девчонки, и на вид как стервы последние, если поближе познакомиться. Нормальная такая картинка, вы ж понимаете. В каком-то смысле, конечно, тоска, потому что сидишь и думаешь себе: а что с ними всеми, нахер, *потом* будет? Ну в смысле, закончат они школу, колледж – и? Сидишь и прикидываешь: повыходят большинство замуж за

каких-нибудь бажбанов. За типов, которые только и знают, что трындеть, сколько у их, нафиг, машин миль на галлон выходит. За таких, которые злятся и детский сад разводят, как я не знаю что, если их в гольф раздраконить или даже в какой-нибудь совсем уж дурацкий пинг-понг. За таких, которые совсем поганые. За таких, которые книжек никогда не читают. За таких, которые достают своим занудством... Нет, тут аккуратней надо. В смысле – кого-то занудами обзывать. Я зануд не просекаю. По-честному. Когда я в Элктон-Хиллз ходил, я месяца где-то два жил в одной комнате с этим пацаном, Хэррисом Маклином. Очень нормальный котелок у него и всяко-разно, но таких зануд, как он, я в жизни не видал. Голос такой скрипучий, а сам не затыкается – ну, практически. Никогда не затыкался – а самая жуть в том, что и не говорил он ничего, считай, полезного. Но вот одну фигню он умел. Эта падла мог свистеть лучше всех. Постель там расстилает, фигню свою в шкаф вешает – он всегда свою фигню в шкаф вешал, я чуть на стенку не лез, – и всю дорогу свистит – ну, если скрипучим своим голоском не излагает ничего. Даже классику мог свистеть, но по большей части он свистел всякий джаз. Мог взять, к примеру, что-нибудь сильно такое джазовое, вроде «Блюза жестяной крыши»²⁸, и высвистать так нормально и ненапряжно – вот пока вешал фигню в шкаф, – что сдохнуть можно. Само собой, я ему

²⁸ «Блюз жестяной крыши» (1923) – джазовая пьеса Пола Мэриса, Уолтера Мелроуза, Бена Поллака, Мела Ститцела, Джорджа Бруниса и Леона Ропполо.

никогда не *говорил*, что он свистун зашибись. В смысле, не подойдешь же к человеку, не скажешь: «Ты зашибись свистун». Но я жил с ним два месяца в комнате — хоть и доставал он меня, считай, до полного помешательства, — именно потому, что свистел так зашибись, лучше не бывает. Поэтому насчет зануд я не знаю. Может, и не стоит так уж сильно жалеть, что какая-нибудь шикарная девка за такого выйдет. Они ж никому ничего не портят — ну, по большей части, — а втайне, может, они все зашибись свистуны или как-то. Кто тут, нахер, разберет? Я точно не могу.

Наконец эта Сэлли под лестницей появилась, и я пошел вниз ей навстречу. Выглядела она зашибенско. По-честному. Такое черное пальто и как бы черный такой беретик. Шляпки она почти и не носила, а беретик этот выглядел неслабо. Уматная фигня в том, что я ее как только увидел, так сразу же захотел на ней жениться. Совсем долбанулся. Мне она даже не очень в *жилу* была, а тут вдруг ни с того ни с сего мне взбредает, что я в нее втрескался и хочу на ней жениться. Ей-богу, долбанулся. Куда деваться.

— Холден! — говорит она. — Как восхитительно тебя видеть! Сколько лет, сколько зим! — У нее голос такой громкий, что всегда неудобняк, если где-то с ней встречаться. Но ей он с рук сходил, потому что она такая симпотная, нафиг, а у меня от него вечно геморрой.

— И *тебя* шикарно, — отвечаю. Без балды причем. — Ты как вообще?

– Абсолютно восхитительно. Я опоздала?

Я сказал, что нет, хотя опоздала она вообще-то минут на десять. Да и надристать. Вся эта херня на карикатурах в «Сэтердей Ивнинг Пост» и всяко-разно, когда парень стоит на перекрестке где-нибудь и видно, что злой, как я не знаю что, потому что у него девка опаздывает, – это все транда. Если девка шикарно выглядит, когда с тобой встречается, кому, нафиг, дело, что она опоздала? Никому.

– Давай-ка лучше двинем, – говорю. – Начало в два сорок. – И мы пошли по лестнице туда, где моторы.

– Что мы будем смотреть? – спрашивает.

– Фиг знает. Лунтов. Я только туда билеты достал.

– Лунтов! О, восхитительно!

Я ж говорил вам, она рехнется просто, когда узнает, что на Лунтов.

В моторе по пути в театр мы немного поваляли дурака. Она сначала не хотела, потому что у нее помада и всяко-разно, но я обходительный был, как не знаю кто, и у нее другого выхода не оставалось. Дважды, когда мотор, нафиг, резко тормозил, я чуть с сиденья, нахер, не падал. Эти таксёры, нахер, никогда не смотрят, куда едут, – чесслово, не смотрят. А потом – это чтоб вы поняли, как я умом двинулся, – вышли мы из такого тесного клинча, и я ей сказал, что люблю ее и всяко-разно. Враки, само собой, но фигня в том, что, когда говорил, я говорил это по-честному. Двинулся я. Ей-богу, двинулся.

– Ох, дорогуша, я тебя тоже люблю, – говорит она. И тут же, не переводя, нафиг, дух: – Только дай мне слово, что волосы отрастишь. Ежики уже немодно смотрятся. А у тебя такие отменные волосы.

Отменные, хрена лысого.

Спектакль был ничего так себе, видал я и похуже. Хотя хероватенький все-таки. Про где-то пятьсот тыщ лет из жизни одной такой пары. Начинается, когда они молодые и всяко-разно, и девкины предки не хотят, чтоб она за пацана выходила, только она за него все равно выходит. А потом они все старше и старше. Муж идет на войну, а у жены есть этот брат, который забулдыга. Ну чего тут интересного? В смысле, наплевать мне, когда кто-то там у них в семье помирает или как-то. Все равно актеры, чего с них взять. Муж и жена – вполне нормальная, кстати, парочка, сильно остроумные и всяко-разно, только все равно не сильно интересно. В первых, всю пьесу они пили чай или еще какую-то, нафиг, хрень. Как увидишь их, так какой-нибудь дворецкий обязательно сует им под нос чай, или жена кому-нибудь наливает. И все постоянно *входят* и *выходят* – голова просто кругом идет от того, как они все там садятся и встают. Алфред Лунт и Линн Фонтанн играли пару в старости, и они были ничего так, но не очень мне в жилу. А от прочих отличались точняк. Они там вели себя не как люди – и не как актеры тоже. Трудно объяснить. Они больше себя вели так, будто знают, что знаменитости и всяко-разно. В смысле, хорошие – но *слиш-*

ком уж хорошие. Когда один заканчивал толкать речугу, другой сразу после что-нибудь очень быстро говорил. С понтом, должно изображать, как люди по-честному разговаривают и перебивают друг друга, и всяко-разно. Засада только в том, что это было *слишком* уж как люди разговаривают и перебивают. Они вели себя, совсем как этот Эрни в Виллидже на пианино играет. Если делаешь что-нибудь слишком хорошо, немного погода, если не следить, начинаешь выпендриваться. И тогда у тебя все уже не так хорошо. Но по-любому они одни такие во всем спектакле были – эти Лунты, в смысле, – у кого видно, что есть мозги. Никуда не денешься.

После первого действия мы с другими туполомами вышли курнуть. Кипиш неслабый. За всю жизнь столько фуфла не увидишь – все курят так, что дым из ушей, и тряндят про пьесу так, чтоб всем было слышно и все понимали, какой ты весь из себя тонкий. Возле нас какой-то бажбан стоял, киноактер, сигу курил. Не знаю, как его зовут, но в кино про войну он вечно играет того парня, который ссыт прямо перед тем, как лезть из окопа в атаку. Он стоял с какой-то потрясной блондинкой, и они изо всех сил старались выглядеть такими искушенными и всяко-разно, будто он не в курсе, что на него люди пялятся. Скромный такой, как я не знаю что. Зашибись не встань. Сэлли же эта много не болтала, только ахала все насчет Лунтов, потому что ей было некогда – она все глазела по сторонам и вроде как выламывалась. Потом вдруг увидела какого-то знакомого туполома на другой сто-

роне вестибюля. Какого-то типа в таком темно-сером фланелевом костюме и жилетке в клеточку. Плющовая Лига, аж куда деваться. Трехнуться можно. Он стоял под стеночкой, укуривался до смерти, и видно было, что его все достало, как я не знаю что. Эта Сэлли и завела:

– Я этого мальчика откуда-то *знаю*. – Она вечно кого-то *знает*, куда ее ни поведи, – или думает, что знает. Она это пела, пока меня не достало вконец, и я не сказал:

– Ну раз ты его знаешь, так подойди и засоси. Ему понравится.

Когда я так сказал, она разозлилась. Только туполом наконец ее заметил и подошел и поздоровался. Видали б вы, как они здороваются. Можно подумать, что они двадцать лет не виделись. И в одной ванне мылись или как-то, когда совсем карапузами были. С понтом, старые корефаны. Тошнотина. А самая умора в том, что, наверно, виделись-то они всего где-то *разок*, на какой-то фуфловой балёхе. Наконец, когда они совсем уже друг друга облизали, эта Сэлли нас познакомила. Его звали Джордж как-то – я уже даже не помню, – и он ходил в Эндовер²⁹. Кипиш такой, что мало не покажется. Вы б его видали, когда эта Сэлли спросила, как ему пьеса. Он же из тех фуфлеров, которым *места* побольше надо, когда они кому-нибудь отвечают. Он шагнул назад – и тут же на-

²⁹ Эндовер (Академия Филлипса) – престижная старшая школа в г. Эндовер, штат Массачусетс, основана в 1778 г. Традиционно готовила к поступлению в Йельский и Гарвардский университеты.

ступил какой-то даме на ногу. Все пальцы на теле ей, наверно, переломал. Говорит: *сама* пьеса, конечно, не шедевр, но Лунты, разумеется, сущие ангелы. Ангелы. Ёксель-моксель. *Ангелы*. Я чуть не сдох. Потом они с Сэлли взялись трындеть про кучу каких-то их общих знакомых. Фуфловее базара в жизни не услышать ни за что. Давай наперебой места всякие вспоминать, а только вспомнят, так сразу ж надо и упомянуть того, кто там живет. Когда пора было в зал возвращаться, меня уже блевать тянуло. По-честному. А потом, когда следующее действие закончилось, они тягомотиной этой своей меня и *далее*, нафиг, доставали. Опять всякие места и опять те, кто там живет. А поганее всего, что у туполома этого голос – такой фуфловый, что дальше некуда, культурно-плющовый такой, усталый, снобский. Как у девки. И даже *глазом* не моргнул – стал клеиться, гад, к моей подруге. Был момент, я даже подумал, что он к нам в мотор залезет, когда спектакль кончился, потому что он с нами перся квартала два, только, он сказал, ему на коктейль с какими-то еще фуфлерами надо было. Я так и видел, как они сидят в каком-нибудь баре, в этих своих, нафиг, клетчатых жилетках, критику наводят на спектакли, книжки, теток этими своими усталыми снобскими голосками. Сдохнуть просто от таких типов.

К тому времени, как мы в мотор сели, я эту Сэлли уже даже как бы возненавидел – еще бы, слушать такого фуфлыжника эндоверского часов десять. Я уже вполне намылился

отвезти ее домой и всяко-разно – по-честному, – только она говорит:

– У меня восхитительная мысль! – У нее всегда восхитительные мысли. – Слушай, – говорит, – а тебе домой к ужину когда надо? То есть ты как-то ужасно спешишь или нет? Тебе домой надо во сколько-то быть?

– Мне? Нет. Ни во сколько особенного не надо. – Правдивей некуда, ух. – А чего?

– Поехали кататься на коньках в Радио-Сити!

Вот такие у нее всегда мысли.

– Кататься в Радио-Сити? В смысле – прямо сейчас?

– Ну всего часик или где-то. Ты разве не хочешь? Нет, если ты не *хочешь*...

– Я не сказал, что не хочу, – говорю. – Конечно. Если хочешь.

– Ты серьезно? Нет, ты не *соглашайся*, если просто так. То есть мне ну *совершенно*, как ни решишь, без разницы.

Еще как без разницы, аж два раза.

– Там можно такие миленькие юбочки напрокат брать, – говорит эта Сэлли. – Дженет Кулц на прошлой неделе брала.

Потому ей так невтерпеж и поехать. Хочет посмотреть на себя в такой юбчонке, что пердак еле прикрывает.

И мы поехали, и когда нам дали коньки, Сэлли еще выдали поносить такую синенькую вертихвостку вместо платица. Но она в ней неслабо, нафиг, выглядела. Никуда не денешься. И не подумайте, она сама отлично это знала. Все

время впереди шла, чтоб я видел, как у нее с пердаком нормально. А с ним у нее по-честному нормально было. Деваться некуда, это да.

Только самая умора в том, что на всем этом, нафиг, катке мы были самыми херовыми фигуристами. В смысле – *самыми*. А там было над чем поржать. У этой Сэлли лодыжки все время вихлялись, пока уже чуть ли по льду не елозили. Смотрелось не только дурацки, как не знаю что, но и больно ей, наверно, было до жути. Потому что мне – было. Я от своих лодыжек просто подышал. Смотрелись мы, должно быть, роскошно. А хуже всего, что вокруг скучковалась по крайней мере пара сотен зевак, которым больше нечем было заняться – только стоять и пялиться, как все валятся кубарем.

– Хочешь, возьмем столик внутри и чего-нибудь выпьем или как-то? – наконец ей говорю.

– Это у тебя самая восхитительная мысль за весь день, – отвечает. Она чуть не *подыхала* просто. Это ж убийство. Мне ее по-честному жалко стало.

Мы сняли эти, нафиг, коньки и зашли в такой бар, где наливают и можно в одних носках сидеть и смотреть, как все вокруг катаются. Как только мы сели, эта Сэлли сняла перчатки, и я дал ей закурить. Видно было, что ей не очень в жилу. Подошел официант, и я заказал ей колу – она не пьет, – а себе скотч с содовой, но падла эта не захотел мне его нести, поэтому себе я тоже взял колу. А потом как бы спичками чиркать начал. Я так нормально часто делаю, когда на меня

находит. Даю им вроде как догореть, пока держать уже нельзя, а потом бросаю в пепельницу. Дерганая такая привычка.

И тут вдруг ни с того ни с сего, как гром с ясного неба, эта Сэлли берет и говорит:

– Слушай. Мне надо знать. Ты ко мне елку украшать придешь или не придешь? Мне надо знать. – Ее по-прежнему лодыжки еще бесили.

– Я ж написал, что приду. Ты меня уже раз двадцать спрашивала. Конечно, приду.

– То есть мне знать надо, – говорит. И давай весь зал, нафиг, оглядывать.

Я тут вдруг бросил спичками чиркать и как бы подался к ней поближе над столом. У меня столько вопросов в башке столпилось.

– Эй, Сэлли, – говорю.

– Чего? – спрашивает. А сама на какую-то девку пялится в другом углу зала.

– Тебя никогда не достает? – говорю. – Ну, в смысле, тебе когда-нибудь страшно, что все станет паршиво, если ты чего-нибудь не сделаешь? В смысле, тебе нравится в школе и всяко-разно прочее?

– Это ужасная *тоска*.

– В смысле – ты ее ненавидишь? Я знаю, что это ужасная тоска, но ты ее *ненавидишь*, я вот в каком смысле?

– Ну, я ее не то чтобы *ненавижу*. Всегда же надо...

– Ну а я ненавижу. Ух как ее ненавижу, – говорю. – Но

штука тут не только в этом. Тут всё. Я ненавижу в Нью-Йорке жить и всяко-разно. И такси, и автобусы на Мэдисон-авеню, где водилы и всяко-разно вечно орут на тебя, чтоб выходили в заднюю дверь, и знакомиться с фуфлом, которое зовет Лунтов ангелами, и ездить вверх-вниз на лифтах, когда просто хочешь выйти, и как в «Бруксе»³⁰ парни тебе штаны постоянно подгоняют, и как люди вечно...

– Не кричи, пожалуйста, – говорит эта Сэлли. Что смешно, потому что я вообще не кричал.

– Возьми тачки, – говорю. Сказал очень спокойно. – Возьми большинство народу – они ж с ума по тачкам сходят. Всего одна царапинка, а их уже колотить начинает, и они вечно трындят, сколько у них миль на галлон выходит, а если тачка совсем новая, они сразу давай думать, как сменять ее на ту, что еще новее. А мне и *старые* тачки не в струю. В смысле – совсем пофиг. Уж лучше, нафиг, лошадь. Лошадь – она, по крайней мере, *человек*, ёксель-моксель. С лошадыю, по крайней мере, можно...

– Я не понимаю, о чем ты вообще, – говорит эта Сэлли. – Ты перескакиваешь с одного...

– Знаешь чего? – говорю. – Я, наверно, только из-за тебя сейчас в Нью-Йорке или вообще где-то. Если б тебя тут не было, я б, наверно, в каких-нибудь других, нахер, своясях был. В лесах или где-нибудь, нафиг, еще. Я тут вообще прак-

³⁰ «Братя Брукс» – старейшая в США фирма мужской одежды, основана в 1818 г.

тически только из-за тебя.

– Ты милый, – говорит она. Но сразу видать, ей хотелось, чтоб я сменил, нафиг, тему.

– Ты б походила как-нибудь в мужскую школу, – говорю. – Попробуй как-нибудь. Там полно фуфла, и там надо только зубрить, чтоб вызубрить столько, чтоб стать сильно башковитым и когда-нибудь, нафиг, «кадиллак» купить, и еще надо все время делать вид, будто тебе не до фонаря, проиграет футбольная команда или нет, а триндеть надо весь день только про девок, бухло и как оприходовать кого-нибудь, и все кучкуются в такие гнусные, нафиг, компашки. Кучкуются те, кто в баскет играет, кучкуются католики, кучкуются, нахер, умники, те, кто в бридж режется, тоже кучкуются. Даже те, кто в книжном, нафиг, *клубе* заседает, кучкуются. А если попробуешь нормально как-то...

– Ну послушай, – говорит Сэлли. – Многие мальчики из школы для себя гораздо *больше* выносят.

– Согласен! Согласен, выносят – некоторые! Но я оттуда только это выношу. Понимаешь? Я вот к чему. Я вот только, нафиг, к этому и больше ни к чему, – говорю. – Я вообще почти больше ничего ниоткуда не выношу. Фигово мне. *Паришво.*

– Это уж точно.

И тут ни с того ни с сего мне в голову эта мысль пришла.

– Слышь, – говорю. – Я вот чего думаю. Как тебе отсюда, нахер, сбежать? У меня мысль. Я знаю этого парня в

Гринич-Виллидж, мы у него можем машину занять на пару недель. Раньше мы с ним в одну школу ходили, и он мне до сих пор десятку должен. Мы чего можем сделать – завтра утром можно махнуть в Массачусетс и Вермонт, покатаемся там и всяко-разно. Там красиво, как я не знаю что. Почестному. – Чем больше про это думал, тем больше расхотелся, как не знаю что, и даже вроде как подался вперед и эту Сэлли, нафиг, за руку взял. Вот же, нафиг, *дурак*. – Кроме шуток, – говорю. – У меня в банке где-то сто восемьдесят зелени. Могу забрать, когда утром откроется, а потом сгонять к тому парню и взять машину. Без балды. Жить будем в таких кемпингах с хижинами и всяко-разно, пока гроши не кончатся. А потом, когда кончатся, я куда-нибудь на работу устроюсь, и мы поселимся где-нибудь с ручьем и всяко-разно, а потом можно будет пожениться или как-то. Зимой я могу нам дрова рубить и всяко-разно. Ей-богу, честно, мы неслабо заживем! Чего скажешь? Ну давай. Чего? Поедешь со мной? Ну скажи!

– Так же просто *нельзя* поступать, – говорит эта Сэлли. Разозлилась, похоже, как не знаю что.

– Почему? Это почему, нахер, нельзя?

– Перестань, пожалуйста, на меня орать, – говорит. Что херня на постном масле, потому что я на нее даже не орал.

– Ну почему нельзя? Почему?

– Потому что нельзя, вот почему. Во-первых, мы оба – практически еще *дети*. И ты хоть на минутку задумался, что

ты будешь делать, если тебя не *возьмут* на работу, когда у тебя деньги закончатся? Мы же с *голоду* умрем. Все это – такая *причудь*, что даже...

– Это не причудь. Я устроюсь на работу. Ты за это не волнуйся. Тебе за это вообще волноваться не надо. Что с тобой такое? Ты не хочешь со мной ехать? Так и *скажи*, если не хочешь.

– Дело не в *этом*. Совсем-совсем не в *этом*, – говорит эта Сэлли. Я уже даже ее вроде как возненавидел. – У нас еще будет уйма времени на всякое такое. То есть, когда ты закончишь колледж и все такое, и если мы поженимся и все такое. И будет уйма восхитительных мест, куда можно поехать. Ты просто...

– Нет, не будет. Не будет ни уймы мест никаких, ничего. Все будет совсем, совсем по-другому, – говорю. Меня опять тоска взяла, как не знаю что.

– Что? – спрашивает она. – Я тебя не слышу. То ты на меня кричишь, то тебя...

– Я говорю: не будет никаких восхитительных мест после того, как я закончу колледж и всяко-разно. Уши разуй. Все будет совсем, совсем по-другому. Нам придется спускаться на лифтах с чемоданами и прочей хренотой. Придется всем звонить и с ними прощаться, и слать им открытки из гостиниц и всяко-разно. И я буду работать в какой-нибудь конторе, зашибать кучу грошей, и ездить на работу в такси и на автобусах по Мэдисон-авеню, и читать газеты, и все время в

бридж резаться, и ходить в кино, и смотреть дурацкие киножурналы, и анонсы будущих фильмов, и хронику. Кинохронику. Господи ты боже мой. Где вечно какие-нибудь тупые скачки, и какая-нибудь дамочка бьет бутылку о борт корабля, и какая-нибудь шимпанзе ездит в штанишках, нафиг, на велике. Вообще все будет не так. Ты вообще не сечешь, к чему я.

– Может, и не секу! Может, и ты *сам* не сечешь, – говорит эта Сэлли. Мы тут оба уже друг друга возненавидели до самых кишок. Видно, что нет уже никакого смысла пробовать нормально поговорить. Я вообще жалел, что эту байду завел, как не знаю что.

– Ладно, пошли отсюда, – говорю. – Ты, сказать по правде, – сплошной царский геморрой.

Ух как она взбесилась, когда я так сказал. Знаю, не надо было, да я бы, наверно, вообще и не стал бы так говорить, только она на меня тоску навела, как не знаю что. Обычно я никогда таких дубовых грубостей девчонкам не говорю. Ух как она взбесилась. Я кинулся извиняться как ненормальный, только она ничего и слушать не хотела. Даже заплакала. Тут я чуток даже испугался, потому что вдруг она пойдет домой и штрику своему расскажет, как я ее геморроем обозвал. А штрик у нее – такой здоровый немногословный гад, и я ему все равно не в струю был. Он этой Сэлли однажды сказал, что я слишком галдю.

– Кроме шуток. Я не хотел, – канючил я.

– Ты не хотел. Не хотел ты. Очень смешно, – говорит. Она по-прежнему как бы хлюпала носом, и я вдруг *и впрямь* пожалел, что так сказал.

– Пошли, я тебя домой отвезу. Без балды.

– Домой я и сама добраться могу, большое спасибо. Если ты думаешь, будто я *тебе* позволю себя провожать, ты совсем спятил. Ни один мальчик мне за всю жизнь такого не говорил.

Вся эта фигня, если вдуматься, – даже смешно как-то, и я ни с того ни с сего сделал такое, чего не стоило. Я заржал. А ржу я очень громко, по-дурацки так. В смысле, следи я за собой где-нибудь в кино или как-то, я б, наверно, вперед нагнулся и велел себе, пожалуйста, закрыть пасть. Тут эта Сэлли еще больше рассвиrepела.

Я немного покрутился возле нее – извинялся и старался заставить, чтоб она меня простила, только она не прощала. Талдычила мне, чтоб я отвалил и оставил ее в покое. Ну, я в конце концов и отвалил. Зашел вовнутрь, забрал свои ботинки и прочую хрень и ушел без Сэлли. Не стоило, но меня к тому времени все уже вполне так достало.

Сказать вам правду, даже не знаю, чего ради я с ней всю эту херню завел. В смысле, чтоб куда-нибудь уехать, в Масачусетс там или в Вермонт и всяко-разно. Захоти она даже со мной поехать, я б, наверно, все равно ее не взял. С ней не в струю ездить. Но самая-то жуть в том, что когда я спрашивал, я *не шутил*. Вот в чем самая жуть. Ей-богу, я совсем

Когда я уходил с катка, мне как бы жрать захотелось, поэтому я зарулил в эту аптечную лавку и взял бутер со швейцарским сыром и солодовое молоко, а потом зашел в телефонную будку. Прикинул, может, еще разок этой Джейн звякнуть, посмотреть, дома она или нет. В смысле, у меня целый вечер свободный, вот я и прикинул, звякну-ка ей, а если дома – свожу на танцы или как-то куда-то. Всю дорогу, что мы знакомы, я с ней ни разу ни танцевал, ничего. Хотя разок видал, как она танцует. Вроде на вид неслабо. Это в клубе на танцах было, Четвертого июля. Я ее тогда не очень хорошо знал, и мне показалось, что не стоит их с партнером разбивать. Она тогда ходила с этим жутким типусом – Элом Пайком, который учился в Чоуте³¹. Я его не очень хорошо знал, но он постоянно ошивался возле бассейна. Ходил все время в таких белых плавках из латекса и вечно нырял с самой высокой доски. И весь день изображал один и тот же паршивый недокульбит. Других прыжков он не умел, а все равно считал себя таким неслабым фертом. Сплошные мускулы и голяк мозгов. В общем, с ним тогда у Джейн свиданка была. Я такого никак не просекал. Чесслово. Когда мы с

³¹ «Чоут Розмари-Холл» – престижная старшая школа в штате Коннектикут, до 1971 г. – мужская.

ней начали ходить, я спросил, как так вышло, что она ходила с таким пижоном. А Джейн говорит, этот гад Эл Пайк – не пижон. У него, говорит, комплекс неполноценности. А у самой вид такой, будто она его жалеет или как-то, – и при этом не рисуется. Она это без балды. Умора с девчонками. Как только речь пойдет про какого-нибудь типуса, явно гада – в смысле, совсем поганого, или сильно надутого и всяко-разно, – и стоит про него девчонке ляпнуть чего-нибудь, как она тебе в ответ: у него комплекс неполноценности. Может, и да, только это ж не отменяет того, что он гад, по-моему. Девки. Никогда не просечешь, чего они подумают. Я однажды устроил свиданку этой соседке Роберты Уолш с одним своим другом. Его звали Боб Робинсон – *вот* у кого комплекс неполноценности был. Сразу видать: ему стыдно штриков и всяко-разно, потому что они говорят «евоинный» и «ейный» и прочую такую фигню, да и грошей у них совсем немного. Только он же ни гад, ничего. Нормальный такой парень. А этой соседке Роберты Уолш он не вкатил никак. Она Роберте сказала: слишком самонадеянный, – а вот *решила* она так из-за того, что он ей ляпнул, дескать, он капитан дискуссионной команды. Такая вот фиговина крошечная – и она уже давай думать, будто он самонадеянный! Засада с девками такая, что если им пацан какой-нибудь в струю, неважно, гад он или не очень, они говорят, что у него комплекс неполноценности, а если им пацан *не* в струю, какой бы нормальный он ни был, или какой бы там у него ни был комплекс непол-

ноценности, они говорят, что он самонадеянный. Так даже головастые девки поступают.

Ладно, в общем, я снова звякнул этой Джейн, только трубку никто не взял, поэтому пришлось повесить. Потом надо было в записную книжку лезть – смотреть, у кого, нахер, вечер может быть не занят. Засада только в том, что у меня в записной книжке всего где-то три фамилии. Джейн, и этот мужик мистер Антолини, который у меня вел в Элктон-Хиллз, да номер конторы моего штрика. Я постоянно забываю фамилии записывать. Поэтому я вот чего в конце – я брякнул Карлу Люсу. Он из Вутона выпустился после того, как я отвалил. Года на три старше, и мне он не особо в струю был, но он такой интель – у него среди парней в Вутоне самый высокий коэффициент интеллекта был, – и я прикинул, что он, может, захочет со мной где-нибудь поужинать да по-умному потрещать, что ли. Он очень в жилу просвещал иногда. Вот я ему и звякнул. Теперь он ходил в Колумбию³², а жил на 65-й улице и всяко-разно, и я знал, что он дома. Когда его позвали, он сказал, что с ужином не выйдет, но в десять он может со мной выпить в баре «Плетенка» на 54-й. По-моему, он неслабо так удивился, что я ему позвонил. Было дело, я его обозвал жопастым фуфлером.

Времени до десяти было навалом, поэтому я чего – я пошел в кино в Радио-Сити. Хуже я, наверно, ничего не мог

³² Колумбийский университет – престижный частный университет в Нью-Йорке, входит в Лигу Плюща, основан в 1754 г.

сделать, но это рядом, а больше я все равно не придумал чего-то.

Я зашел, когда там варьете, нафиг, еще показывали. «Ракетки»³³ ногами дрыгали так, что бошки отлетали, – как они обычно делают, когда все в ряд выстраиваются, и руки эдак вокруг друг дружки. Публика хлопала как ненормальная, а какой-то мужик за мной все твердил своей жене:

– Ты знаешь, что это такое? Это и называется «отточенность».

Я чуть не сдох. После «Ракеток» на сцену вылез типус в смокинге и давай на роликах кататься под целой кучей таких маленьких столиков, а по ходу анекдоты травил. Катался он очень неслабо и всяко-разно, только не сильно в жилу было, потому что я все прикидывался, как он репетирует, что катается на роликах по сцене. Дурогонство какое-то. Наверно, мне просто было не в струю. А за ним началась эта фигня, которую каждое Рождество в Радио-Сити устраивают. Из лож и отовсюду полезли все эти ангелы – парни такие с крестами и прочей херней, просто повсюду, и целая куча их – *тыщи*, не меньше, – давай себе «Придите, верные!»³⁴ голосить как чеканутые. Куда деваться. Должно было выглядеть духовно, как хер знает что, я знаю, и красиво так и вся-

³³ «Ракетки» (The Rockettes) – женская танцевальная труппа Мюзик-холла Радио-Сити, основана в 1925 г.

³⁴ «Придите, верные!» («Adeste Fideles») – христианский гимн (1743), приписываемый английскому композитору Джону Фрэнсису Уэйду (1711–1786).

ко-разно, но ни фи́га духовного или красивого я тут не вижу, ёксель-моксель: куча актеров по всей сцене распятия таскается. Когда они всё допели и снова стали по ложам расходиться, сразу видно было: им так и не терпится сигу выкурить или еще как-то. Я на прошлое Рождество с этой Сэлли Хейз уже такое видал, и она все твердила, как это прекрасно, и костюмы, и все. Я говорю: да этот Христос блеванул бы, наверно, если б такое увидел, – все эти перья и всяко-разно. А Сэлли сказала, что я – кощунственный атеист. Наверно, я он. Христу по-честному бы понравился тот хрюндель, который в оркестре на литаврах играет. Я лет с восьми на этого хрюнделя смотрел. Мы с моим братцем Олли, если ходили туда с предками и всяко-разно, аж с мест срывались и в самый низ бежали, чтоб его видно было. Лучше литавриста я не видал. Ему в литавры бабахнуть удастся от силы пару раз за всю пьесу, но видно, что, если он не играет, это его не достает. А потом бабахает, причем так нормально и нехило, и лицо у него при этом такое дерганое. Однажды мы со штриком в Вашингтон ездили, и Олли послал этому хрюнделю открытку, но спорнем, тот ее так и не получил. Мы просто не очень просекли, какой адрес писать.

После того как эта рождественская хрень закончилась, началась сама, нафиг, картина. Такая гнойная, что глаз не оторвать. Про этого англичанина, Алека как-то там – он был на войне, и ему отшибло память в госпитале и всяко-разно. И вот он выходит из госпиталя с палкой и хромает везде, по

всему Лондону, и вообще не в курсах, кто он, нахер, такой. На самом деле он герцог, только сам этого не знает. Потом он знакомится с этой нормальной такой, уютной и искренней девкой, которая в автобус садится. У нее, нафиг, шляпку сдувает, а он ловит, и они поднимаются наверх, садятся и давай трещать про Чарлза Диккенса. Он у них обоих любимый писатель и всяко-разно. У парня с собой «Оливер Твист», у нее тоже. Блевать тянет. В общем, они тут же друг в друга втюриваются, потому что оба на Чарлзе Диккенсе повернутые и всяко-разно, и он помогает ей с издательством. Она книжки издает, эта девка. Только у нее все не очень зашибись получается, потому что брат у нее бухарь и все их гроши тратит. А он очень такой озлобленный, этот брат, потому что в войну был врачом, а теперь больше не может делать операции – у него нервы по перевалу пошли, и он все время бухает, но все равно такой нормально остроумный и всяко-разно. В общем, этот Алек сочиняет книжку, девка ее издает, и оба они на этой книжке кучу грошей зарабатывают. И вот они уже собрались жениться, когда тут появляется другая девка, эта Марша. Марша была невестой Алека, пока ему память не отшибло, и теперь узнаёт его, когда он в этом магазине книжки покупателям подписывает. Она говорит Алеку, что он на самом деле герцог и всяко-разно, а он ей не верит и не хочет с ней идти к своей штруне и всяко-разно. А штруня у него слепая, как крот. Только другая девка, уютная вся такая которая, его заставляет. Она очень благород-

ная и всяко-разно. Поэтому он идет. Только память к нему все равно не возвращается, даже когда этот его здоровенный датский дог на него напрыгивает, а штруня тычет пальцами его по всей морде и притаскивает ему плюшевого мишку, которого сынок ее слюнявил, когда совсем был карапуз. А потом однажды какие-то пацаны в крикет на лужайке играют, и этому Алеку по башке заезжают шаром. И тут, нафиг, вся эта его память к нему возвращается, и он заходит и целует штруню в лоб и всяко-разно. И опять становится нормальным таким герцогом и забывает напрочь про ту уютную девку, которая книжки издавала. Я б вам и дальше рассказал, только меня блевать тянет. Я вам пока ничего не *испортил* или как-то. Там нечего *портить*, ёксель-моксель. В общем, все заканчивается тем, что Алек и эта уютная девка женятся, а у того брата, который бухал, нервы на место возвращаются, и он делает операцию Алековой штруне, чтоб она снова видеть могла, а потом брат-бухарь и эта Марша друг в друга втюриваются. А в самом конце все сидят за таким длинным обеденным столом и ржут так, что пердаки отваливаются, потому что датский дог приходит, а за ним целый выводок щенят. Все-то думали, что дог этот – мальчик, наверно, или еще какую-нибудь херню, нафиг. Я одно могу сказать: не ходите это смотреть, если не хотите облеваться³⁵.

³⁵ Вероятно, в основу этого сюжета положен фильм американского режиссера Мервина Лероя «Случайная жатва» («Random Harvest», 1942) по одноименному роману английского писателя Джеймза Хилтона (1900–1954).

А достало меня вот чего: рядом со мной дамочка сидела, так она всю картину, нафиг, рыдала. Чем фуфловее, тем сильнее рыдает. Можно подумать, это она добрая такая, как не знаю что, только я-то рядом сидел и знаю: ни фига она не добрая. С ней был пацанчик такой маленький, ему было скучно, как не знаю что, и он в тубзо все время хотел, а она его не вела. Все талдычила, чтоб тихо сидел и вел себя прилично. Добрая прямо такая, как, нафиг, волчица. Кого угодно возьмите, кто, нафиг, все глаза себе выплакивает от всякого киношного фуфла, и девять из десяти – в душе поганые гады. Без балды.

Кино закончилось, и я двинул в «Плетенку», где у нас была встреча с этим Карлом Люсом, и пока шел, я как бы думал про войну и всяко-разно. У меня от кино про войну всегда так бывает. Наверно, я б не смог на войну пойти. По-честному не смог бы. Уж лучше б вывели и просто расстреляли или еще как-то, но в *армии* же, нафиг, долго торчать надо. Вот в чем вся засада. Мой брательник Д. Б. четыре, нафиг, года прослужил. И воевал тоже – высаживался в День Д³⁶ и всяко-разно, – только я по-честному думаю, что армию он ненавидел больше войны. Я в то время совсем еще мелкий был, но помню, когда он домой в увольнение приходил и всяко-разно, он только на кровати лежал, больше ничего. Даже в гостиную почти не выходил. А потом, когда его за море от-

³⁶ День Д – 6 июня 1944 г., день высадки союзников под командованием Дуайта Эйзенхауэра на побережье Нормандии.

правили и он на войну попал и всяко-разно, его ни ранили, ничего, и ни в кого стрелять ему не пришлось. Ему только надо было какого-то генерала ковбойского весь день в штабной машине возить. Однажды он нам с Олли рассказал, что если б ему в кого-нибудь стрелять пришлось, он бы не сообразил, в какую сторону пулять. Говорил, гадов везде одинаково, что в армии, что у нациков. Помню, Олли как-то у него спросил, может, это хорошо, что он на войне побывал, раз он писатель, и теперь ему есть про что писать и всяко-разно. А он послал Олли за бейсбольной перчаткой и спрашивает: кто лучше военный поэт, Руперт Брук или Эмили Дикинсон?³⁷ Олли говорит: Эмили Дикинсон. Сам я тут не очень секу, потому что стихов почти не читаю, а *точно* знаю вот чего: я бы свихнулся, нафиг, если бы пришлось идти в армию и все время торчать там со всякими Экли и Стрэдлейтерами, и с этим Морисом, и маршировать с ними, и всяко-разно. Я как-то ходил в бойскауты – где-то неделю, – и мне противно было даже в затылок пялиться тому типу, что впереди топал. А там всё талдычили, чтоб мы в затылок вперёдистоящего пялились. Чесслово, если еще война будет, лучше уж пускай меня выведут и воткнут перед расстрельным взводом. Я не стану возражать. А с Д. Б. меня вот что достает: он же так войну ненавидел, но все-таки прошлым летом заставил меня

³⁷ Руперт Чонер Брук (1887–1915) – английский поэт, автор «Военных сонетов», погиб в Первой мировой войне. Эмили Дикинсон (1830–1886) – поэтесса-затворница, классик американской литературы.

читать эту книжку, «Прощай, оружие!»³⁸. Сказал, что очень неслабая. Я вот чего не секу. Там в ней этот парень по имени лейтенант Генри вроде как должен быть нормальным и всяко-разно. И я не понимаю, как Д. Б. может так ненавидеть армию и войну, и всяко-разно, и все равно ему нравится такое фуфло. В смысле, вот, например, я не понимаю, как ему такая фуфловая книжка нравится – и тут же нравится Ринг Ларднер или та, по которой он так с ума сходит, «Грандиозный Гэтсби»³⁹. Д. Б. жутко разозлился, когда я так ему сказал, и говорит, дескать, я слишком юный еще и всяко-разно, чтоб такие вещи ценить, только я так не думаю. Я ему сказал, что мне в жилу Ринг Ларднер, и «Грандиозный Гэтсби», и всяко-разно. И они мне в жилу. «Грандиозный Гэтсби» – это вообще обалдеть не встать. Во дает. Старина Гэтсби. Я чуть не сдох. В общем, я как бы даже рад, что атомную бомбу изобрели. Если будет еще война, я на эту бомбу прямо сверху сяду. Сам вызовусь – ей-богу, так и сделаю.

19

На случай, если вы в Нью-Йорке не живете, бар «Плетенка» – он в такой шикарной гостинице, «Сетон» называется.

³⁸ «Прощай, оружие!» (1929) – полуавтобиографический роман американского писателя Эрнеста Миллера Хемингуэя (1899–1961) о Первой мировой войне.

³⁹ «Грандиозный Гэтсби» (1925) – роман американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (1896–1940) об «эпохе джаза». *Рус. пер. С. Ильина.*

Я раньше нормально так часто туда ходил, но теперь уже нет. Постепенно бросил. Такие места – считается, они все себе хитровывернутые и всяко-разно, и фуфло туда только что в окна не лезет. Там раньше были две эти французские девки, Тина и Жанин, – они выходили, на пианино играли и пели раза по три за вечер. Одна играла на пианино – явно паршиво, – а вторая пела, и песенки у них были в основном или вполне себе похабные, или по-французски. А та, что пела, эта Жанин, – она еще всегда, нафиг, в микрофон шептала перед тем, как петь. Говорит: «А ситшасс ми фам покажём нашше изображёни Вули-Ву-Франсэй. Эта песенка про маленьки франсэз девотшка, она приежжалъ в польшой кород, как Нью-Йорк, и там повстречаль польшой любофь, маленьки малтшик исс Бруклин. Ми хочім, штоп ви ее любиль». А потом дошепчет все и, вся такая миленькая, как не знаю что, поет что-нибудь бажбанское – половину по-английски, половину по-французски, и все это фуфло в зале от радости просто умом двигается. Посидишь там сколько-то, послушаешь, как фуфлыжники хлопают и всяко-разно, – и весь мир возненавидишь, чесслово. Бармен тоже параша. Сноб, каких мало. Вообще с тобой не разговаривает, если ты не шишка какая, не знаменитость или как-то. А если ты шишка и знаменитость или как-то, он тогда еще тошнотнее. Подваливает такой и говорит с этой своей широченной чарующей улыбкой, будто вы с ним познакомитесь и он окажется совершенно роскошным типусом: «Ну-с, и как там в Коннектикуте?» –

или: «Как Флорида?» Жуткое место, без балды. Я постепенно совсем бросил туда ходить.

Было еще рано, когда я добрел. Сел у стойки – толпы там было вполне себе – и залил уже пару скотчей с содовой, когда этот Люс вообще появился. Когда заказывал, я вставал, чтобы поняли, какой я дылда, и не думали, будто я, нафиг, малолетка. Потом еще поразглядывал все это фуфло. Какой-то типус рядом пуржил девке своей, как я не знаю что. Все талдычил ей, что у нее аристократические руки. Я чуть не сдох. В другом углу бара было полно гомиков. На вид-то не очень гомики – в смысле, патлы ни слишком длинные, ничего, – только все равно видать, что гомики. Тут наконец этот Люс появился.

Люс такой. Ну и типус. Когда я ходил в Вутон, он считался моим наставником. Хотя наставлял он только про то, кто кого как пежит и всяко-разно, когда по ночам у него в комнате другие парни собирались. Про это он много чего знал, особенно про извращенцев и всяко-разно. Все время нам трындел про всяких жутиков, которые ходят и с овцами сношаются, да про всяких типусов, которые бабские трусы в подкладку шляп себе зашивают и всяко-разно. Еще про гомиков и лесбиянок. Этот Люс знал всех гомиков и лесбиянок в Соединенных Штатах. Стоит кого-нибудь упомянуть – кого *угодно*, – и этот Люс тебе скажет, гомик тот или нет. Иногда трудно поверить, что они гомики и лесбиянки, и всяко-разно – все эти киноактеры и прочие. Про некоторых он говорил,

что гомики, а они женаты, ёксель-моксель. Иногда переспрашиваешь: «В смысле, Джо Хренли – гомик? Джо Хренли? Этот здоровенный парняга, который вечно гангстеров и ковбоев играет?» А Люс такой: «Разумеется». Он всегда говорит «разумеется». Говорит, неважно, женатик или нет. Говорит, половина всех женатиков на свете – гомики и даже сами про это не знают. Говорит, гомиком можно практически раз – и стать, если у тебя предрасположенность и всяко-разно. Пугал нас, как прямо не знаю что. Я все ждал, когда превращусь в гомика или как-то. А самая умора про этого Люса – я все думал тогда, что он сам чутка гомик в каком-то смысле. Он вечно говорил: «Как там у нас с размерчиком?» – и вдруг сзади за яйца хватать, как не знаю что, когда ты по коридору просто идешь. А когда он в тубзо ходил, вечно дверь, нафиг, не закрывал и с тобой *разговаривал*, пока ты там зубы чистишь или еще чего. Это ж гомики же такой херней занимаются. По-честному. Я знал много настоящих гомиков – в школах и всяко-разно, и они постоянно такой херней маялись, потому-то насчет Люса и сомневался. Но все равно он вполне себе с котелком парень. По-честному.

А при встрече он никогда ни здоровался, ничего. Сел и первым делом говорит, что он всего на пару минут может. У него, мол, свиданка. Потом заказал себе сухой мартини. Сказал бармену, чтоб очень сухой и без оливки.

– Эй, у меня для тебя гомик есть, – я ему говорю. – Вон, в конце стойки. Не смотри. Я его для тебя припас.

– Очень смешно, – отвечает. – Все тот же Колфилд. Ты когда уже повзрослеешь?

Я доставал его ужасно. По-честному. Но я с него ржал. Офигенно уматные такие типы, по-моему.

– Как твоя половая жизнь? – спрашиваю. Он терпеть не может, если у него про такое спрашивают.

– Расслабься, – говорит. – Сядь и расслабься, бога ради.

– Я расслаблен, – говорю. – Как твоя Колумбия? Нравится?

– Разумеется, нравится. Если б не нравилась, я б туда не пошел. – Он сам иногда жуть как достает.

– На чем специализируешься? – спрашиваю. – На извращенцах? – Я, конечно, просто дурака валял.

– Ты чего тут – острить будешь?

– Не, я просто шучу, – говорю. – Слышь, Люс. Ты ж такой интель, да? Мне нужен твой совет. У меня жуткая...

А он мне в ответ как застонет.

– Это *ты* слышь, Колфилд. Если хочешь тут сидеть, тихо-мирно выпивать и тихо-мирно разгова...

– Ладно, ладно, – говорю. – Расслабься. – Сразу видать, он не хочет со мной ни о чем по-умному беседовать. В этом вся засада с интелями. Ни за что не хотят ни о чем по-умному, если только *им* это не в жилу. Поэтому я чего – я стал ему общие такие темы задвигать. – Кроме шуток, как у тебя с половой жизнью? – спрашиваю. – С той же девкой ходишь, с какой в Вутоне ходил? У нее еще неслабая такая...

– Боже праведный, нет, – говорит.

– Как так? Что с ней случилось?

– Ни малейшего понятия не имею. Но раз уж ты спрашиваешь, она уже запросто может быть Ньюгемпширской Блудницей.

– Фу, как некрасиво. Если давать тебе ей хватало порядочности, ты о ней теперь хоть отзываться так не должен.

– О боже! – говорит этот Люс. – Это у нас будет типичная беседа с Колфилдом? Ты лучше предупреди.

– Не будет, – отвечаю, – только все равно некрасиво. Если она такая нормальная и порядочная была...

– Нам *обязательно* нужно развивать эту кошмарную мысль?

Я ничего не ответил. Я как бы испугался, что он сейчас встанет и бросит меня тут, если я не заткнусь. Поэтому я чего – я только еще бухла заказал. Мне как-то в струю было нажраться.

– Так с кем ты сейчас ходишь? – спрашиваю. – Не хочешь мне поведать?

– Ты не знаешь.

– Да, но с кем? Я могу знать.

– Девка в Виллидже тут живет. Скульпторша. Если настаиваешь.

– Да? Без балды? И сколько ей?

– Бога ради, я ее не *спрашивал* никогда.

– Ну хотя бы примерно?

– Я бы прикинул, где-то под сорок, – говорит этот Люс.

– Под сорок? Да ну? Тебе такое в жилу? – спрашиваю. – Тебе такие старухи нравятся? – Я почему спрашивал – потому что он ничего так шарил в сексе и всяко-разно. Один из немногих, про которых я точняк знал: этот – шарит. Ему целку сломали в четырнадцать, в Нантакете. По-честному.

– Мне нравится женщина зрелая, если ты об этом. Разумеется.

– Правда? А почему? Без шуток, их, что ли, приходить лучше и всяко-разно?

– Слушай. Давай уговоримся раз и навсегда. Я сегодня отказываюсь отвечать на любые типично колфилдовские вопросы. Когда ж ты наконец повзрослеешь, а?

Я сколько-то вообще ничего ему не говорил. Ну нафиг. Потом этот Люс заказал себе еще мартини и сказал бармену, чтоб сделал гораздо суше.

– Слышь. А ты с ней сколько уже ходишь, с этой своей скульпторшей? – спрашиваю. Мне по правде интересно было. – Ты с ней в Вутоне познакомился?

– Едва ли. Она только несколько месяцев назад в страну приехала.

– Правда? А она откуда?

– Случилось так, что из Шанхая.

– Да ну? *Китаянка*, что ли, ёксель-моксель?

– Очевидно.

– Да ну? И тебе в струю? Что она китаянка?

– Очевидно.

– Почему? Мне интересно – по-честному интересно.

– Я просто нахожу восточную философию удовлетворительнее западной. Раз ты *спрашиваешь*.

– Правда, что ли? А ты в каком смысле – «философию»? Побарахтаться и всяко-разно? В смысле, в Китае с этим лучше? Ты в этом смысле?

– Не обязательно в *Китае*, господи ты боже. На *Востоке*, я сказал. Нам надо этот пустой разговор продолжать?

– Слышь, без балды, – говорю. – Кроме шуток. Почему с этим на Востоке лучше?

– В это слишком сложно вдаваться, господи боже мой, – говорит этот Люс. – Они попросту считают секс переживанием как физическим, так и духовным. Если ты думаешь, будто я...

– Так и я тоже! Я ж тоже его считаю, как ты его там, физическим и духовным переживанием и всяко-разно. По-честному. Но там все зависит от того, с кем, нахер, я это делаю. Если с кем-то, кого я даже не...

– Бога ради, Колфилд, не так громко. Если не можешь голосом управлять, давай оставим эту...

– Ладно, только слышь? – Меня распирало, и я *точно* громковато орал. Иногда у меня с этим перебор, если меня распирает. – Я вот в каком смысле, – говорю. – Понятно, что это и физическое, и духовное, и художественное, и всяко-разно. Но я вот чего: ты ж не можешь так со *всеми* – с

каждой девкой, которую зажимаешь и всяко-разно, – и чтоб вот так вот все выходило. Или можешь?

– Давай оставим, – говорит этот Люс. – Ты не против?

– Ладно, только слушай. Возьмем тебя и эту твою китаянку. Что у вас двоих так зашибись?

– Я сказал – *оставим*.

Я настырный, в душу полез. Это я понимаю. Только вот какая фигня в Люсе достает. Когда мы ходили в Вутон, он тебя заставлял излагать все самое личное, что с *тобой* творилось, а если *ему* начнешь вопросы задавать про *него* – злится. Этим интелеям не в жилу с тобой по-умному разговаривать, если они сами базаром не заправляют. Им всегда лучше, чтоб ты заткнулся, если *сами* затыкаются, и валил к себе в комнату, если они валят к *себе*. Когда я ходил в Вутон, этот Люс терпеть не мог – это по-честному видать было, – когда закончит про пежиловку с нами трындеть у себя в комнате, чтоб мы еще сидели сколько-то и по ушам друг другу ездили. В смысле – мы с другими парнями. Не у себя в комнате. Этот Люс такое просто ненавидел. Ему вечно подавай, чтобы все по своим комнатам расходились и затыкались, когда он закончит всю из себя шишку изображать. Он же какой фигни боялся – что кто-нибудь вдруг ляпнет чего поумней *его*. С него и впрямь уржаться.

– Я, может, в Китай поеду. Паршиво у меня с половой жизнью, – говорю.

– Естественно. У тебя разум не развит.

– Точняк. По-честному. Сам знаю, – говорю. – Знаешь, какая у меня засада? Меня никогда по-честному не заводит – в смысле, *совсем* по-честному – с той девкой, которая не слишком в жилу. В смысле, мне она *сильно* в жилу должна быть. А если нет, у меня к ней как бы никакого, нафиг, желания и всяко-разно. Ух, из-за этого у меня половая жизнь совсем невпротык. Говно у меня, а не половая жизнь.

– Господи боже – ну, естественно, говно. Я ж тебе в последний раз говорил, что тебе нужно?

– В смысле – к мозгоправу сходить и всяко-разно? – спрашиваю. Это он мне в последнюю встречу говорил. Штрик у него психоаналитик и всяко-разно.

– Тебе решать, боже ты мой. Меня, нафиг, не касается, что ты там делать будешь со своей жизнью.

Я сколько-то вообще ничего не говорил. Я думал.

– Допустим, я пойду к твоему предку и дам ему себя пропсихоанализировать и всяко-разно, – потом говорю. – И что он мне сделает? В смысле – что он мне сделает?

– Ни фига он тебе не сделает. Просто поговорит с тобой, а ты поговоришь с ним, господи ты боже. Во-первых, он тебе поможет распознать паттерны твоего рассудка.

– Чего?

– Паттерны твоего рассудка. Рассудок твой работает... Слушай. Я тебе тут вводный курс психоанализа читать не собираюсь. Если интересно, позвони ему и назначьте встречу. Если нет – не звони. Мне, честно говоря, наплевать.

Я положил руку ему на плечо. Ух, как с него уржаться можно.

– Ты, гад, настоящий друг, – говорю. – Знаешь, да?

А он уже на часы глядел.

– Надо рвать, – говорит и тут же встает. – Приятно было тебя увидеть. – Подозвал бармена и велел счет принести.

– Эй, – говорю, пока он еще не свалил. – А твой предок тебя вообще психоанализировал?

– Меня? А что?

– Ничего. Но да или нет? Да?

– Не вполне. Он помог мне до некоторой степени приспособиться, но всесторонний анализ оказался излишним. А что?

– Ничего. Просто спросил.

– Ну что. Ладно, будь, – говорит. Оставил чаевые и всяко-разно и двинул к выходу.

– Ты б еще выпил, а? – говорю. – Пожалуйста. Мне одиноко, как не знаю что. Без балды.

А он сказал, что не может. Поздно уже, говорит, а потом ушел.

Люс такой. Сплошной геморрой, хотя словарный запас что надо. Больше, чем у всех пацанов в Вутоне, когда я туда ходил. Нам тест устраивали.

Я остался там сидеть и надираться, и ждать, когда вылезут эти Жанин с Тиной и свою фигню станут исполнять, только их там не было. Зато вылез гомиковатый такой типус с завитыми волосами и сел играть на пианино, а потом у них вышла эта новая девка, Валенсия, и запела. Ни фига хорошего, но всяко лучше Тины с Жанин, и по крайней мере неслабые песни пела. Пианино стояло возле самого бара, где я сидел и всяко-разно, и эта Валенсия стояла прямо у меня, считай, над душой. Я вроде стал на нее, как водится, косяка давить, а она делала вид, что ни фига даже не замечает. Я б, может, и не стал, только я уже нажрался, как не знаю что. Она допела и отвалила так быстро, что я даже не успел пригласить ее бухнуть со мной, поэтому я подозвал старшего официанта. Говорю, спросите у этой Валенсии, не хочет ли она со мной выпить. Он сказал, что спросит, а сам, наверно, ей даже не передал ни фига. Народ никогда ни шиша от тебя никому не передает.

Ух, я сидел в этом, нафиг, баре где-то до часу ночи и набубенивался, как просто гад последний. У меня уже глазки в кучку были. Я только чего старался – я, прямо как не знаю что, старался ни буянить, ничего. Не в струю, чтоб меня кто-нибудь заметил или как-то, или стал спрашивать, сколько мне лет. Только ух, глазки у меня точняк в кучку были. Ко-

гда я *по-честному* нажрался, я опять эту дурацкую фигню завел – ну, с пулей в брюхе. Я, с понтом, в баре один такой, с пулей в брюхе. Совал руку себе под куртку, живот щупал и всяко-разно, чтоб кровищей все вокруг не залить. Не в струю же, если они врубятся, что я вообще ранен. Я *скрывал* тот факт, что я – падла раненая. Наконец мне чего показалось – а нехило бы этой Джейн брякнуть, проверить, дома или нет. Поэтому я расплатился и всяко-разно. Потом вылез из бара и двинул туда, где автоматы. А руку под курткой все держал, чтоб кровища не хлестала. Ух, вот я нажрался.

Только я когда в будку залез, мне уже не очень в струю было этой Джейн звякать. Наверно, перебор нажрался. Поэтому я чего – я брякнул этой Сэлли Хейз.

Наверно, двадцать номеров перетыкал, пока правильно не набрал. Ух, вот я совсем ослеп.

– Алло, – говорю, когда кто-то, нафиг, трубку снял. Я вроде как даже заорал, так нажрался.

– Кто это? – спрашивает такой ледяной дамский голос.

– Эт я. Холден Колфилд. Мона Сэлли, пжалста?

– Сэлли спит. Я ее бабушка. Почему вы в такой час звоните, Холден? Вы знаете, сколько сейчас времени?

– Ну. Надо с Сэлли погрить. Оч важно. Давайте ее сюда.

– Сэлли спит, молодой человек. Позвоните ей завтра. Доброй ночи.

– Так разубдите! Разубдите ей, а? Во умница.

Затем возник другой голос.

– Холден, это я. – Тут уже эта Сэлли. – Что такое?

– Сэлли? Эт ты?

– Да – и хватит орать. Ты пьян?

– Ну. Ссушь. Ссушь, а? Я приду на Рожжесво. Лана? Елку те украшать. Лана? Лана, а, Сэлли?

– Да. Ты пьян. Ложись уже спать. Ты где? Ты с кем?

– Сэлли? Я приду те елку украшать, лана? Лана, а?

– *Ладно.* Ложись спать. Ты где? С тобой кто-то есть?

– Никто. Я, я сам и опять я. – Ух как же я нажрался! И по-прежнему щупал брюхо. – Мя подбили. Банда Булыжника мя подстрелила. Знашь, да? Сэлли, знашь или не?

– Я тебя не слышу. Ложись спать. Мне пора. Позвони мне завтра.

– Эй, Сэлли! Хочшь, шшоб я те елку украшал? Хочшь? А?

– *Да.* Спокойной ночи. Иди домой и ложись спать.

И она повесила трубку.

– Спок'чи. Спокочи, Сэлли, рыбка. Сэлли милая любимая, – говорю. Можете себе вообразить, как я нарезался? Я потом тоже повесил. Она ж, наверно, со свиданки только пришла. Я прикинул, как она там с Лунтами где-то и всяко-разно, и с этим туполомом эндоверским. И все они плавают кругами по чайнику, нафиг, с чаем, и вжевывают друг другу что-нибудь хитровывернутое, и все с таким шармом, и все такое фуффло. Господи, вот не надо же было ей звонить. Когда я нажираюсь, я совсем съезжаю с катушек.

Я поторчал в будке еще сколько-то. Вроде как держался за

телефон, чтоб не вырубиться. Сказать вам правду, мне было не сильно восхитительно. Только в конце концов я оттуда вышел и двинул в сортир, шатаюсь, как последний дебил, а там налил холодной воды в раковину. И макнул туда голову – по самые уши. Не стал даже ни вытирать, ничего. Пусть эта падла капает. Затем подошел к батарее у окна и на нее сел. Там было нормально и тепло. Очень в струю, потому что я весь дрожал, гадство. Смешная фигня – меня всегда трясет, как не знаю что, если я надираюсь.

Делать больше было не фиг, поэтому я стал и дальше сидеть на батарее и считать белые квадратики на полу. Отмокал потихоньку. У меня по шее лился где-то, наверно, галлон воды за воротник, по галстуку и всяко-разно, только мне было надристать. Я слишком нажрался, а то б не надристать было. Потом, совсем немного погодя, зашел расчесать свои златые кудри тот типус, который Валенсии на пианино подыгрывал, такой завитой весь, гомик на вид. Мы с ним как бы разговорились, пока он причесывался, вот только он оказался не слишком, нафиг, дружелюбный.

– Эй? Вы эту малышку Валенсию увидите, когда в бар вернетесь? – спрашиваю.

– В высшей степени вероятно, – говорит. Остряк-самоучка. Что-то мне сплошь остряки попадают.

– Слышите? А передайте ей мои комплименты. Спросите, этот, нафиг, халдей от меня что-нибудь передавал, а?

– А чего б тебе домой не пойти, землячок? Тебе вообще

сколько лет?

– Восемьдесят шесть. Слышите. Передайте ей мои комплименты. Лана?

– Земляк, иди домой, а?

– Это не про меня. Ух, а вы зашибись, нафиг, на этом пианино играете, – говорю. Это я ему просто польстил. Говняно он на пианино играл, сказать вам правду. – Вам по радио выступать надо, – говорю. – Такому симпатичному. С этими, нафиг, золотыми кудряшками. Вам нужен импресарио?

– Иди домой, земля, будь умницей. Иди домой и пропись.

– Некуда идти. Кроме шуток – вам импресарио нужен?

Он не ответил. Просто взял и вышел. Закончил уже перья себе чистить, приглаживать там и всяко-разно – и ушел. Как Стрэдлейтер. Все эти красавчики одинаковые. Как только, нафиг, допричесываются, так берут и отваливают.

Когда я наконец слез с батареи и вышел в гардероб, я просто ревел и всяко-разно. Не знаю почему, но вот поди ж ты. Наверно, потому, что одиноко и так тоской прибило. А потом я дошел до гардероба – и не смог, нафиг, номерок найти. Хотя гардеробщица очень нормально к этому отнеслась. Куртку мне все равно отдала. И пластинку про «Малютку Ширли Бинз» – та у меня никуда не делась и всяко-разно. Я гардеробщице дал зеленый за то, что она такая нормальная, только она не взяла. Все твердила мне, чтоб шел домой и проспался. Я вроде как попробовал свиданку ей назначить,

когда она закончит работу, а она не захотела. Говорит, она мне в матери годится и всяко-разно. А я ей седину свою, нафиг, показал и говорю: мне сорок два, — я, само собой, просто дурака валял. Но она все равно нормальная. Я показал ей свой, нафиг, красный охотничий кепарь, и ей понравилось. Заставила меня его надеть перед выходом, потому что у меня башка еще мокрая была. Путёвая такая тетка.

Я наружу вышел — так будто и не бухал вообще, но там опять холодрыга, и у меня зубы застучали, как не знаю что. Никак успокоить их не мог. Я допер до Мэдисон-авеню и стал ждать автобуса, потому что грошей у меня почти не осталось и на моторах и всяко-разно уже надо было экономить. Только, нафиг, в автобус садиться мне было совсем не в струю. А кроме того, я даже не шарил, куда же мне ехать. Поэтому я чего — я двинул к парку. Прикинул, дойду до того прудика и погляжу, чем там утки маются, — там они вообще или нет. Я ж по-прежнему не в курсе был, там они или нет. До парка недалеко, да и двигать мне особо некуда было — я пока даже не шарил, где *ночевать* стану, вот и пошел. Я ни устал, ничего. Мне просто было тоскливо, как я не знаю что.

А как только я в парк зашел, такая херня кошмарная случилась. Я уронил пластинку Фиби. И пластинка эта разлетелась кусков на полста. Она была в здоровом таком конверте и всяко-разно, только все равно разбилась. Я, нахер, чуть не заревел, так херово мне стало, но потом я чего — я вытащил осколки из конверта и сложил в карман. Ни к чему их уже не

приспособить, но и выкидывать не в жилу. А потом пошел в парк. Ух какая же темень там стояла.

Я всю жизнь в Нью-Йорке прожил и Центральный парк как свои пять пальцев знаю, потому что все время ходил туда кататься на роликах и на велике гонять, когда был мелкий, но пруд этот ночью искать – та еще засада оказалась. Нет, я знал, где он – рядом с Южной Сентрал-Парк и всяко-разно, – только все равно не мог найти. Наверно, больше нажрался, чем думал. Я все ходил и ходил, а вокруг все темней и темней, все жутче и жутче. Пока в парке был, я вообще никого не видал. Ну и нормально. Может, если б встретил, так на целую милю бы подпрыгнул. Потом наконец нашел. А там чего – пруд этот где замерз, а где нет. И уток никаких я не увидел. Обошел вокруг этого, нафиг, пруда – один раз чуть было, нафиг, даже не *занырнул* в него, – только ни одной утки не увидал. Подумал, может, если они тут и *есть*, так спят или как-то у самого берега, где трава и всяко-разно. Так я, в общем, чуть и не *занырнул*. Только никого не нашел все равно.

Наконец я сел на эту скамейку, где не было, нафиг, такой темени. Ух как меня трясло, гадство, и в волосах на затылке, хоть я и в кепаре сидел, вроде как ледышек таких полно. Меня тут заколотило. Ну, думаю, воспаление легких подхватчу и сдохну. И давай прикидывать, как миллионы туполомов ко мне на похороны придут и всяко-разно. Дед из Детройта, который все номера улиц выкрикивает, когда с ним едешь,

нафиг, в автобусе, и тетки мои – у меня штук полста теток, – и все эти паршивые двоюродные. Там же вся банда соберется. Они приперлись, когда Олли помер, вся эта, нафиг, дурацкая кодла. У меня есть одна дура-тетка, у нее изо рта воняет, так она все твердила, как *мирно* он лежит, мне Д. Б. потом рассказывал. Меня там не было. Я еще был в больнице. Мне пришлось в больницу лечь и всяко-разно, когда я себе поранил руку. В общем, меня все еще колотило насчет воспаления легких, со всеми этими ледышками в волосах, и насчет того, что я возьму и сдохну. Мне предков жалко было, как не знаю что. Особенно штрünü, потому что она после Олли еще не оправилась. Я все прикидывался, как она не знает, что делать со всеми моими костюмами и спортивными прибабасами и всяко-разно. Одно хорошо – я знал, что Фиби она ко мне на похороны, нафиг, не пустит, потому что Фиби совсем еще малявка. Вот это одно только хорошо и было. А потом я подумал, как вся эта кодла меня в могилу на кладбище, нафиг, сует и всяко-разно, с моим именем на памятнике и всяко-разно. Жмурики со всех сторон. Ух, вот подохнешь – тут-то тебя и оприходуют. Надеюсь, нахер, когда я *все-таки* загнусь, у кого-нибудь мозгов хватит просто вывалить меня в реку или как-то. Что угодно, только бы, нафиг, на кладбище не совали. В воскресенье народ приходит, кладет веники цветочные тебе на пузо, всякая такая херня. Кому нужны цветы, если ты жмурик? Да никому.

Когда погода нормальная, штрики вполне себе часто хо-

дят и цветы втыкают Олли в эту могилу. Я с ними пару раз тоже ездил, но потом бросил. Во-первых, мне совершенно не в жилу видеть его на этом долбанутом кладбище. Среди жмуриков и надгробий, и всяко-разно. Когда солнышко, еще ничего, только дважды – *дважды*, – когда мы там были, начался дождь. Жуть. И на его паршивое надгробье лило, и на траву у него на пузе. Везде лило. И все посетители, что кладбище посещали, рванули к своим машинам, как я не знаю что. Я чуть на стенку не полез. Все посетители эти могли позалазить к себе в машины, повключать радио и всяко-разно, а потом поехать в какую-нибудь приятную рыгаловку ужинать – все, кроме Олли. Охереть невыносимо. Я знаю, что там на кладбище только его тело и всяко-разно, а душа у него на Небеси и прочая херня, только все равно перебор. Не надо было ему туда попадать, что ли. Вы его не знали. Если б знали, вы бы поняли, о чем я. Когда солнышко, еще ничего, но солнышко выходит, только если ему в жилу выходить.

Немного погодя, чтоб хоть как-то отвлечься от воспаления легких и всяко-разно, я вытащил гроши и попробовал сосчитать в паршивом свете от фонаря. Осталось у меня всего три по одному, пять четвертаков и никель – ух, я целое состояние спустил после свала из Пенси. И потом я чего – я пошел к озеру и как бы блинчиков по нему напускал четвертаками и никелем, там, где не замерзло. Фиг знает, зачем я так сделал, но сделал. Наверно, прикинул, что так и отлекусь от воспаления легких и того, что сдохну. А вот фиг там.

Я начал думать, каково будет Фиби, если я подхвачу воспаление легких и сдохну. Детский сад так думать, только я не мог остановиться. Вполне себе фигово ей будет, если какая-нибудь такая херня произойдет. Я ей сильно в струю. В смысле, я ей ничего так нравлюсь. По-честному. В общем, никак из башки я это выгнать не мог, поэтому вот чего я прикинул сделать – я прикинул, что нехило бы пробраться домой и повидаться с ней, на тот случай, если я сдохну или как-то. У меня ключи с собой и всяко-разно, и я вот чего прикинул: заберусь в квартиру, очень тихо и всяко-разно, и мы с Фиби вроде как чутка потрещим. Меня только одно доставало – наружная дверь. Скрипит гадски. Жилой дом у нас нехило старый, а комендант – ленивая скотина, и все у него в доме скрипит и пищит. Вдруг штрики услышат, как я в дом лезу. Но я решил все равно попробовать.

Поэтому я, нахер, вымелся из парка и двинул домой. Всю дорогу пехом. Там недалеко, а я совсем не устал и уже даже не бухой был. Только дубак стоял, да никого ни вокруг, ни где.

21

Подфартило за много лет впервые – когда я добрался домой, обычного лифтера, Пита, в кабине не было. В кабине сидел какой-то новый парень, я его раньше не видел, поэтому я прикинул, что если не врежусь башкой в штриков и вся-

ко-разно, то смогу поздороваться с Фиби, а потом свалить, и никто даже не заметит, что я тут был. Зашибись просто подфартило. А еще лучше то, что новый лифтер был несколько так дурковат. Я ему сказал – как бы между прочим так, – чтоб он поднял меня к Дикстайнам. Дикстайны – у них другая квартира у нас на этаже. Кепарь свой я уже снял, чтоб не отсвечивать или как-то. И в лифт зашел так, будто сильно спешу.

Он все двери лифта закрыл и всяко-разно и уже настроился ехать, а потом поворачивается и говорит:

– А их дома нет. У них вечеринка на четырнадцатом этаже.

– Это ничего, – отвечаю. – Я должен их подождать. Я их племянник.

Он на меня тупо так, с подозрением глядит.

– Вы б тогда лучше, – говорит, – в вестибюле подождали, приятель.

– Это можно бы – честно, можно, – говорю. – Только у меня больная нога. Я должен держать ее в одном положении. Думаю, я лучше посижу на стульчике у них под дверью.

Он не просек, что это я такое несу, нахер, и только и сказал:

– А, – и поднял меня наверх. Неплохо, ух. Умора. Надо только сказать чего-нибудь, чтоб никто не просек, и они все что хочешь тебе сделают.

Я вышел у нас на этаже – сам хромаю гадски просто – и

двинулся к Дикстайнам. Потом как услышал, что дверь лифта закрылась, развернулся и пошел на нашу сторону. Нормально у меня получается. Как будто и не бухал вообще. Потом вынул ключ и открыл дверь – очень, очень осторожно и всяко-разно, зашел и дверь закрыл. Надо было в жулики податься.

В прихожей темень, как я не знаю что, само собой, и, само собой, никакого света зажечь я не мог. Надо было аккуратно не влезть ни во что и не наделать шума. Но я точно знал, что я дома. У нас в прихожей уматный такой запах стоит – так больше нигде не воняет. Я вообще не знаю, что это, нахер, такое. Не цветная капуста и не духи – вообще непонятно, что за херня, – но всегда знаешь, что ты дома. Я начал было куртку снимать и вешать в шкаф, только в шкафу полно плечиков, которые гремят как полоумные, если дверцу приоткроешь, поэтому я не стал. Потом я медленно, очень медленно двинулся к комнате Фиби. Я знал, что горничная меня не услышит, – у нее только одна перепонка. Ей брат в детстве соломинку в ухо засунул, она мне как-то рассказывала. Нормально так глухая и всяко-разно. А вот *предки* мои, особенно штруня – у той вообще слух как у, нафиг, гончей. Потому я очень, очень на цыпочках шел мимо их двери. Даже, ёксель-моксель, дышать перестал. Штрика-то можно стулом по башке огреть, и он не проснется, а вот штруня – ей всего-то хватит, чтоб вы в Сибири где-нибудь кашлянули, и она уже вас услышит. Дерганая, как не знаю что. То и дело по

ночам не спит, сиги курит.

Наконец где-то через час я добрался до этой комнаты Фиби. Только Фиби там не было. Про это я забыл. Она же всегда в комнате Д. Б. спит, когда тот в Голливуд ездит или еще куда. Ей нравится, потому что самая здоровая комната в доме. А еще там такой безумный древний стол, который Д. Б. купил у какой-то кирюхи в Филадельфии, и такая здоровая гигантская кровать, миль десять в ширину и десять в длину. Где он ее купил, фиг знает. В общем, Фиби в жилу спать в комнате у Д. Б., когда его нет, и он ей разрешает. Вы б видели, как она уроки делает за этим долбанутым столом или как-то. Он такой же здоровый, как кровать. Ее за ним еле видно, когда она там уроки делает. Но вот такое ей как раз в струю. А ее комната ей никак, говорит, потому что слишком маленькая. Говорит, ей нравится разложиться. Сдохнуть можно. Ну чего этой Фиби раскладывать? Ни шиша.

В общем, двинул я к Д. Б. – тихо, как не знаю что, и включил лампу на столе. Фиби такая даже не проснулась. Когда свет загорелся и всяко-разно, я вроде как чутка на нее посмотрел. Лежит там, спит, морденция где-то с краю подушки. И рот раскрыла. Умора. Возьмите взрослых – паршиво они выглядят, когда спят и пасти у них раззявлены, а вот малявки ни фига. Нормально малявки смотрятся. Всю подушку даже облизывают могут, а все равно нормально.

Я походил по комнате, очень тихо и всяко-разно, поглядел на всякую фигню. Для разнообразия мне было зашибись.

Воспаления легких уже никакого и в помине. Нормально мне было для разнообразия. У Фиби эта одежда на стуле сложена возле кровати. Фиби очень аккуратная для малявки. В смысле – барахло свое не разбрасывает, как другие. Не халда. У нее пиджачок от этого рыжего костюма, который штруня ей в Канаде купила, висел на спинке. А блузка и прочая фигня – на сиденье сложены. Обувка и носочки на полу, прямо под стулом, рядом друг с дружкой. Обувки этой я раньше не видел. Новая. Такие темно-коричневые мокасины, вроде той пары, что у меня, и с костюмчиком роскошно смотрятся, который ей штруня в Канаде купила. Штруня ее нехило одевает. По-честному. У нее зашибись вкус к некоторым штукам. Ни фига не может коньки только покупать или еще чего-то, а с одеждой все очень неслабо. В смысле, на Фиби всегда какое-нибудь платьице бывает, от которого сдохнуть просто можно. Возьмите большинство малявок, даже если у них предки нехило грошей зашибают, – так они какую-нибудь жуть носят. Вы б видели эту Фиби в костюмчике, что ей штруня в Канаде купила. Без балды.

Я сел за этот стол Д. Б. и поглядел, что там. В основном Фибина хренотень, школьная и всяко-разно. Главным образом учебники. Тот, что сверху, назывался «Арифметика – это весело!». Я как бы открыл на первой странице и глянул. Вот чего у Фиби на ней было:

Фиби Уэзерфилд Колфилд 4Б-1

Я чуть не сдох. У нее среднее имя Джозефин, ёксель-мок-

сель, никакое не Уэзерфилд. Только ей оно не в жилу. Всякий раз, когда мы с ней встречаемся, у нее новое среднее имя.

Под арифметикой лежала география, а под географией – упражнения по английскому. С упражнениями у нее все очень неслабо. У нее со всеми предметами неслабо, но с английским вообще нехило. А под упражнениями лежала куча тетрадок. У нее их тыщ пять где-то. Ни у одной малявки столько тетрадок нет. Я открыл верхнюю и глянул на первую страницу. На ней было:

*Бернис встретимся на перемене мне тебе нужно
сказать что-то очень очень важное.*

Больше там ничего не было. На следующей было вот чего:

*Почему на юго востоке Аляски так много кансерных
фабрик?*

Потому что там так много лосося

Почему там ценные леса?

потому что подходит климат.

*Что наше правительство сделало чтобы
жизнь эскимосов аляски была легче?*

посмотреть на завтра!!!

Фиби Уэзерфилд Колфилд

Фиби Уэзерфилд Колфилд

Фиби Уэзерфилд Колфилд

Фиби У. Колфилд

Фиби Уэзерфилд Колфилд, эск.

Передай пожалуйста Ширли!!!!

*Ширли ты говорила что стрилец
но ты просто телец принеси коньки
когда придешь ко мне домой*

Я сел там на стол Д. Б. и прочел всю тетрадку. Это недолго, и я такую фигню могу читать – тетрадки какой-нибудь малявки, Фиби или еще чьи, – и днем, и ночью. От их тетрадок сдохнуть можно. Потом я сигу закурил – это у меня была последняя. В тот день я, наверно, пачки три выкурил. А потом я Фиби наконец разбудил. В смысле, я ж не мог сидеть на столе до конца жизни, а кроме того, боялся, что вдруг ни с того ни с сего налетят штрики, а мне хотелось по крайней мере с ней поздороваться, пока не ворвались. Потому и разбудил.

Она легко просыпается. В смысле, на нее не надо ни орать, ничего. Только сесть на кровать и сказать: «Просыпайся, Фиб», – и бац, она уже проснулась.

– *Холден!* – сразу же говорит. Облапила меня руками за шею и всяко-разно. Очень мамсится. В смысле – для малявки вполне себе нежная такая. Иногда даже *слишком*. Я вроде как ее чмокнул, а она говорит: – Ты када *приехал*? – Рада мне, как не знаю что. Сразу видать.

– Не так громко. Только что. Ты вообще как?

– Я отлично. Ты получил мое письмо? Я написала на пяти листах тебе...

– Ага – не так громко. Спасибо.

Она мне это письмо написала. Только я на него ответить

не успел. Сплошняком про ту постановку, где она в школе играла. Сказала, чтоб я никаких свиданок, ничего на пятницу не назначал, а пришел смотреть.

– Как постановка? – спрашиваю. – Как, говоришь, называется?

– «Рождественский спектакль для американцев». Он паршивый, только я там Бенедикт Арнолд⁴⁰. У меня практически самая большая роль, – говорит. Ух как она уже вся проснулась. Она очень колобродится, когда такую фигню рассказывает. – Начинается, когда я умираю. Перед Рождеством приходит этот дух и спрашивает, стыдно ли мне и все такое. Ну, в общем. За то, что страну предал и все такое. Ты придешь смотреть? – Она уже на кровати так и подскочила и всяко-разно. – Вот про это я тебе и написала. Придешь?

– Само собой, приду. Ну еще б не пришел.

– А папа не может. Ему в Калифорнию надо лететь, – говорит. Ух как она уже вся такая проснулась. Ей, чтоб проснуться, секунды две надо. Она сидела – ну как бы на коленях – на кровати и держала меня, нафиг, за руку. – Слушай. А мама сказала, ты дома будешь в *среду*, – говорит. – Сказала, что

⁴⁰ Бенедикт Арнолд (1741–1801) – герой Войны за независимость, генерал. В 1778 г. был назначен военным комендантом г. Филадельфии, вел расточительный образ жизни, наделал долгов и, обиженный на Конгресс, задержавший присвоение ему генеральского чина, вступил в тайную переписку с англичанами. В 1780 г. предложил англичанам секреты форта Вест-Пойнт за 20 тыс. фунтов стерлингов. Бежал, получил звание генерала колониальных войск у англичан, уехал в Англию; умер, презираемый всеми. Его имя стало нарицательным для изменника и предателя.

в *среду*.

– Я раньше выехал. Не так громко. Разбудишь всех.

– А сколько времени? Они домой поздно будут, мама говорила. Они поехали на прием в Норуок, в Коннектикут, – говорит такая Фиби. – Угадай, что я сегодня днем делала? Какое кино видала? Угадай!

– Не знаю... Слушай. Они не сказали, когда...

– «Врача», – Фиби такая говорит. – Это специальное кино показывали в Фонде Листера. Только один день показывали, и это сегодня. Про этого доктора в Кентукки и все такое – он еще затыкает одеялом лицо этой девочке, которая калека и не может ходить. А потом его в тюрьму сажают и все такое. Отличное кино просто.

– Послушай секундочку. Они не сказали, когда...

– Он ее жалеет, доктор этот. Потому и лицо ей затыкает и все такое, чтоб она задохнулась. А его потом сажают в тюрьму на пожизненное заключение, но эта девочка, которой он лицо заткнул, приходит его навестить все время и говорит ему спасибо за то, что он сделал. Он из милосердия убийца. Только он знает, что должен в тюрьму сесть, потому что врач не должен у Бога ничего отнимать. Нас мама одной девочки у нас в классе водила. Элис Холмборг. Она моя лучшая подруга. Она одна во всем...

– погоди минутку, а? – говорю. – Я тебе вопрос задал. Они сказали, когда вернутся, или не сказали?

– Нет, но поздно. Папа взял машину и все такое, чтобы с

поездами не связываться. У нас там сейчас радио есть! Только мама говорит, его нельзя играть, когда машина едет.

Меня отпустило – ну вроде. В смысле, я наконец бросил дергаться насчет того, поймают они меня дома или нет. Прикинул – да ну его к черту. Поймают так поймают.

Вы бы видели эту Фиби. В такой пижаме синей, с красными слонятами на воротничке. Слоны для нее – это вообще полный капец.

– Значит, хорошая картина была, а? – говорю.

– Шикарная просто, только Элис простыла, и мама у нее все время спрашивала, не гриппует ли она. Прямо посреди кино. Только там что-нибудь важное случится, ее мама перегибается через меня и спрашивает Элис, не гриппует ли она. На нервы действовало.

Потом я сказал ей про пластинку.

– Слушай, я тебе пластинку купил, – говорю. – Только по дороге домой она сломалась. – И я вытащил из кармана обломки и ей показал. – Я надрался, – говорю.

– Дай кусочки, – говорит Фиби. – Я их себе оставлю. – И взяла их у меня прямо из руки и в ящик тумбочки своей положила. Я чуть не сдох.

– Д. Б. на Рождество приезжает? – спрашиваю.

– Мама говорит, может, да, а может, нет. Как получится. Может, ему придется остаться в Голливуде и писать картину про Аннаполис⁴¹.

⁴¹ Аннаполис – столица штата Мэриленд, где располагается Военно-морская

– Аннаполис, ёксель-моксель!

– Там про любовь и все такое. Угадай, кто там будет играть? Какая кинозвезда? Угадай!

– Мне это неинтересно. *Аннаполис*, ёксель-моксель. Да что Д. Б. знает про *Аннаполис*, ёксель-моксель? Как это связано вообще с его рассказами? – говорю. Ух, с ума съехать можно от такой херни. Голливуд, нафиг. – Что ты сделала с рукой? – спрашиваю. Я заметил, у нее локоть здоровенным шматом пластыря заклеен. А заметил почему – пижама-то у нее без рукавов.

– Да этот мальчишка, Кёртис Уайнтрауб, который у нас в классе, толкнул, когда я по лестнице в парк спускалась, – говорит. – Хочешь поглядеть? – И она принялась сдирать эту долбанутую липучку с руки.

– Оставь ее в покое. А почему он тебя с лестницы толкнул?

– Не знаю. Наверно, он меня терпеть не может, – Фиби такая говорит. – Мы с этой другой девочкой, Селмой Эттенбери, ему ветровку чернилами и всяким разным облили.

– Это некрасиво. Ты что, дитя малое, ёксель-моксель?

– Нет, но я только в парк пойду, он везде за мной ходит. Всегда ходит за мной. Он мне на нервы действует.

– Может, ты ему нравишься. Но из-за этого же не стоит чернилами...

– А я не хочу ему нравиться, – говорит. А потом уматно

так на меня поглядела. — Холден, — говорит, — а почему ты домой не в *среду* приехал?

— Чего?

Ух, за ней глаз да глаз каждую минуту. Если думаете, что она какая-то дурочка, вы совсем спятили.

— Почему ты дома не в *среду*? — спрашивает. — Тебя ни выгнали, ничего, правда?

— Я ж тебе уже сказал. Нас раньше распустили. Отпустили всю...

— Тебя выгнали! Выгнали! — Фиби такая говорит. А потом кулаком меня по ноге двинула. Она сильно кулакастая, если ей в жилу. — *Выгнали!* Ой *Холден!* — А потом рот рукой прикрыла и всяко-разно. Сильно возбужденная она, чесслово.

— Кто сказал, что меня выгнали? Никто не говорил...

— *Выгнали-выгнали*, — говорит. И хватъ меня снова кулаком. Если думаете, что не больно, вы совсем двинулись. — Папа тебя *убьет!* — говорит. Потом плюхнулась пузом на кровать и подушку, нафиг, себе на голову нахлобучила. Она так вполне себе часто делает. Иногда совсем чеканутая.

— Хватит, ну, — говорю. — Никто меня не убьет. Никто даже не... ну *ладно*, Фиб, убирай эту фигню с головы. Никто меня не убьет.

Только она не убирала. Ее никак не заставишь чего-нибудь сделать, если ей не в жилу. Знай себе твердит:

— Папа тебя убьет. — Там и не разберешь ни шиша с этой подушкой на голове.

– Никто меня не убьет. Мозги включи. Во-первых, я уезжаю. Я чего могу – я могу на ранчо работать устроиться на время или как-то. У меня парень знакомый есть, так у его деда ранчо в Колорадо. Могу там устроиться на работу, – говорю. – Меня когда не будет, я буду тебе писать и всяко-разно, если уеду. Ладно тебе. Убирай подушку. Давай, ну эй, Фиби. Пожалста. Пожалста, а?

Только она все равно не убрала. Я попробовал стянуть сам, только она сильная, как не знаю что. С ней драться устает. Ух, раз захочет подушку на башке у себя держать, там подушка и будет держаться.

– Фиби, ну пожалста? Вылазь оттуда, – твержу. – Ладно, эй?.. Эй, Уэзерфилд. Вылазь.

Только она не вылазила. Иногда ее вообще ничем не проймешь. Наконец я встал и вышел в гостиную, достал из сигаретницы на столе сиг и в карман сунул. У меня кончились.

22

Когда я вернулся, подушки на голове уже никакой не было – я так и знал, – только Фиби по-прежнему на меня не глядела, хоть и лежала уже на спине и всяко-разно. Я обошел кровать и снова сел, а она морденцию свою долбанутую в другую сторону отвернула. Бойкот такой, как я не знаю что. Как фехтовальная команда в Пенси, когда я, нафиг, рапиры в метро забыл.

– Как эта Хэзел Уэзерфилд? – спрашиваю. – Еще сочинишь про нее? Та история, что ты мне прислала, у меня в чемодане. Он на вокзале. Очень хорошая.

– Папа тебя *убьет*.

Ух, вот взбредает ей в башку, если уж взбредает.

– Ничего не убьет. Самое худшее – взбучку устроит, а потом отправит, нафиг, в это военное училище. А больше ничего и не сделает. И *потом* – меня тут вообще не будет. Я уеду. Я – я, наверно, в Колорадо буду, на этом ранчо.

– Не смеши меня. Ты даже на лошади кататься не можешь.

– Кто не может? Еще как могу. Ну еще б не мог. Этому учат за две минуты, – говорю. – Хватит уже ковырять. – Она ковыряла этот пластырь на руке. – Тебя кто стриг? – спрашиваю. Я только что заметил, какую дурацкую прическу ей сделали. Слишком коротко.

– Тебя не касается, – говорит. Очень наглая иногда бывает. Вполне себе наглая такая. – Ты, я думаю, опять все предметы до единого провалил, – говорит – очень так нагло. Но и уматно в каком-то смысле. Иногда она разговаривает, как, нафиг, училка, а сама же малявка, да и только.

– А вот и нет, – говорю. – Английский я сдал. – А потом, вот просто от нефиг делать, я ее за попу ущипнул. Очень уж сильно в воздух торчала, так Фиби улеглась на бок. Да и попы-то у нее почти нет. Я не сильно, а она все равно по руке меня садануть попыталась, только промазала.

А потом вдруг ни с того ни с сего говорит:

– Ох, ну и зачем же ты только это *сделал*? – В смысле, почему меня выперли. Мне сразу как-то убого стало, так она сказала это.

– Господи, Фиби, не спрашивай. Меня уже тошнит, что все спрашивают, – говорю. – Милльон причин. Это одна из худших школ, куда я ходил. Там полно фуфла. И погани всякой. Столько поганных типовов ты в жизни не видала. Например, сидишь и треплешься у кого-нибудь в комнате, а кто-нибудь еще хочет зайти, так его не пускают, если это какой-нибудь бажбан прыщавый. Все вечно двери себе запирают, если кто-то хочет зайти. И у них еще такое тайное, нафиг, братство, куда я зассал не вступать. Там есть такой прыщавый зануда, Роберт Экли, – он вот вступить хотел. Долго хотел и пытался, а его не пускали. Только потому, что он прыщавый и зануда. Мне об этом даже говорить не в жилу. Говно школа. Поверь мне на слово.

Фиби такая ничего не сказала – но она слушала. У нее по затылку видно, что слушала. Она всегда слушает, если что-нибудь ей рассказываешь. А самая умора – она почти что всегда понимает, о чем, нахер, ты ей говоришь. По-честному врубается.

И я дальше ей про Пенси излагал. Как бы в струю было.

– Там даже пара нормальных преподав – и те фуфло, – говорю. – Был там один такой старикан, мистер Спенсер. Жена его всегда горячим шоколадом поит и прочей фигней, и они, в общем, вполне себе нормальные такие. Но ты б его виде-

ла, когда к нему на историю зашел директор, этот Тёрмер, и сел на заднюю парту. Он вечно приходит и сидит на задней парте, ну где-то с полчаса. С понтом, инкогнито или как-то. А немного погодя посидел он там – и давай этого Спенсера перебивать, корки бородатые отмачивать. Этот Спенсер чуть не сдох, пока хмыкал, улыбался и всяко-разно, будто Тёрмер этот – принц сказочный, нафиг, или еще как-то.

– Не ругайся так сильно.

– Рвать тянет, честслово, – говорю. – Потом на День ветеранов. У них день такой есть, День ветеранов, когда все эти туполомы, которые Пенси заканчивали года с 1776-го, возвращаются и бродят везде, с женами, детьми и прочей шушерой. Видела б ты этого старикана – лет полста ему. Он чего – он пришел к нам в комнату, в дверь постучал и спрашивает, можно ли ему в сортир. А сортир – в конце коридора, фиг знает, почему вообще у нас стал спрашивать. Знаешь, чего сказал? Говорит, ему интересно, сохранились ли его инициалы, которые он на двери тубза вырезал. Он же чего – он вырезал, нафиг, эти свои дурацкие убогие инициалы на двери в тубзо лет девяносто назад, и теперь ему хотелось поглядеть, там они или нет. И мы с соседом проводили его до сортира и всяко-разно, и стояли смотрели, пока он на всех дверях в кабинки инициалы свои искал. И все это время он нам булки мямл – про то, что в Пенси у него были самые счастливые дни в жизни, советы на будущее нам давал и всяко-разно. Ух какая меня от него тоска взяла! Я не в смысле, что он плохой, –

он ничего. Но ведь не обязательно гады тоску наводят, это и *хороший* может запросто. Тут же всего-то надо, что надавать побольше фуфловых советов, пока ищешь свои инициалы на какой-нибудь двери в тубзо, вот и все. Фиг знает. Может, все и ничего было бы, если б не одышка у него. А он весь запыхался, когда по лестнице наверх перся, и пока он эти свои инициалы искал, сопел все, и ноздри у него смешные и убогие такие, и он нам со Стрэдлейтером все талдычил, чтоб мы из Пенси как можно больше взяли. Господи, Фиби! Не могу я объяснить. Да мне просто не в жилу все, что там творилось. Не могу объяснить.

Тут Фиби такая чего-то сказала, только я ее не расслышал. Она ртом в самую подушку воткнулась, и я ничего не услышал.

– Чего? – говорю. – Рот отлепи. Я ни фига не слышу, когда ты ртом в подушку.

– Тебе *ничего* не нравится, что творится.

Когда она так сказала, мне еще тоскливей стало.

– А вот и нет. А вот и нет. Еще *как* нравится. Не говори так. Зачем, нафиг, ты так говоришь?

– Потому что нет. Тебе никакие школы не нравятся. Тебе миллион всего не нравится. *Нет*, и все.

– Нравится. Вот тут ты не права – вот тут как раз и ошиблась! На фига вот такое говорить? – говорю. Ух какая мне от нее тоска.

– Потому что нет, – говорит. – Назови хоть что-нибудь.

– Что-нибудь? Такое, чтоб мне нравилось? – говорю. – Ладно.

Засада в том, что я не слишком путёво мог сосредоточиться. Иногда сосредоточиться офигенно трудно.

– Что-нибудь одно, что мне сильно в жилу? – спрашиваю.

А она не ответила. Только искоса так смотрела на меня, нахер, с другой стороны кровати. Миль тыща до нее.

– Ну давай, скажи, – говорю. – Одно такое, что мне сильно нравится или просто в жилу?

– Что сильно нравится.

– Ладно, – говорю. Только засада в том, что никак не сосредоточиться. В башке только те две монашки, которые гроши ходили собирали в свои битые плетеные корзинки. Особенно очкастая со стальными дужками. И тот пацан, знакомый по Элктон-Хиллз. Там в Элктон-Хиллз был один пацан по имени Джеймз Касл, который не хотел брать обратно то, чего сказал про другого пацана, самодовольного такого, Фила Стейбила. Джеймз Касл назвал его самодовольным типусом, и кто-то из паршивых корешей Стейбила пошел и наступал на него Стейбилу. Поэтому Стейбил и еще шесть гнусных гадов пошли в комнату к Джеймзу Каслу, вломились туда, заперли, нафиг, дверь и хотели, чтобы он взял свои слова обратно, а он ни в какую. Ну они и принялись за него. Не буду говорить даже, что они с ним делали – слишком отвратительно, – а он *все равно* ничего не брал, этот Джеймз Касл. Вы б его видели. Тощий такой хилага на вид, руки что каран-

дашки. Наконец он чего – он не стал ничего обратно брать, а выпрыгнул из окна. Я как раз в *душе* был и всяко-разно, но даже *там* слышно было, как он снаружи грохнулся. Я-то просто подумал, что-то из окна упало – радио или стол там, или как-то, не *пацан* же, ничего. А потом слышу – все бегут по коридору, вниз по лестнице, поэтому я халат накинул и тоже рванул, а там этот Джеймс Касл прямо на каменных ступеньках лежит и всяко-разно. Мертвый, и зубы эти его, и кровь везде, а к нему даже не подойдет никто. На нем был такой свитер с горлом, я ему давал поносить. А с теми, кто с ним в комнате был, ничего не сделали, только исключили. Даже в тюрьму не посадили.

Вот и все, что я мог придумать. Те две монашки, с которыми за завтраком познакомился, да этот пацан Джеймс Касл, которого я знал в Элктон-Хиллз. Самая умора как раз в том, что с Джеймсом Каслом мы еле знакомы были, сказать вам правду. Он такой был спокойный очень. Мы с ним на матёму вместе ходили, только он совсем на другой стороне сидел, вообще почти не вставал отвечать и к доске ни выходил, ничего. Есть такие парни в школе – вообще почти отвечать не встают и к доске не ходят. По-моему, мы с ним один только раз и поговорили, когда он спросил, нельзя ли взять у меня поносить свитер с горлом. Я, нахер, чуть не сдох, когда он спросил, – так удивился и всяко-разно. Помню, я зубы чистил в хезнике, когда он спросил. Говорит такой, у него двоюродный приезжает и берет его с собой покататься и вся-

ко-разно. А я даже не знал, что он знает, что у меня *есть* такой свитер с горлом. Про него я одно только знал – что у него фамилия по списку перед моей стоит. Кабел Р., Кабел У., Касл, Колфилд – до сих пор не забыл. Сказать вам правду, я чуть свитер-то от него не *зажиллил*. Просто потому, что не сильно его знал.

– Чего? – спрашиваю. Фиби мне что-то сказала, только я не расслышал.

– Ты даже одну штуку придумать не можешь.

– А вот и могу. Вот и могу.

– Ну так придумай.

– Мне нравится Олли, – говорю. – И мне нравится то, что я вот сейчас делаю. Сижу тут с тобой и болтаю, и думаю про всякую фигню, и...

– Олли *умер*... Ты всегда так говоришь! Если кто-то умер и все такое, и на *Небо* попал, тогда не считается...

– Я знаю, что он умер! Думаешь, я не знаю? Но он же мне может по-прежнему нравиться или нет? Просто потому, что кто-то умер, он же тебе не перестает нравиться, ёксель-моксель, – особенно если они в тыщу раз нормальнее того, про кого знаешь, что он *жив* и всяко-разно.

Фиби такая ничего не сказала. Когда она не может придумать, что сказать, она вообще ни слова, нафиг, не говорит.

– В общем, мне сейчас нравится, – говорю. – В смысле – вот сейчас. Сидеть тут с тобой и просто по ушам ездить, и дурака...

– Да это вообще *понарошку*!

– Ничего не *понарошку*! И вовсе не *понарошку* совсем! Чего, нафиг, ради? Вечно все думают, что всё *понарошку*. И меня, нафиг, уже от этого тошнит.

– Хватит ругаться. Ладно, еще что-нибудь назови. Назови, кем ты бы хотел *быть*. Ну, ученый. Или *юрист*, или еще чего-нибудь.

– Я не могу быть ученым. У меня с точными науками засада.

– Ну юристом – как папа и все такое.

– Юристы, наверно, ничего – только меня не привлекает, – говорю. – В смысле, они ничего, если ходят все время и спасают невинные жизни, и вроде того, только если ты юрист, ты таким не *маешься*. Только гроши зашибаешь, играешь в гольф там, в бридж, покупаешь машины, пьешь мартини и выглядишь как ферт. А кроме того. Даже если и *ходишь*, и *спасаешь* невинные жизни и всяко-разно, откуда тебе знать, ты это делаешь потому, что тебе в *жилу* было спасать невинные жизни, или потому, что ты ходил и спасал, потому что на *самом* деле тебе хотелось быть зашибенским юристом, чтоб тебя все по спине хлопали и поздравляли в суде, когда, нафиг, процесс закончится, репортеры и прочие, как в этом гнусном кино? Откуда тебе знать, что ты не фуфло? Засада в том, что *ниоткуда*.

Я не сильно уверен, просекла Фиби, что за херню я ей толкую, или нет. В смысле, она ж мелкая малявка все-таки и

всяко-разно. Но она хоть слушала. Если кто-то на крайняк хоть слушает, уже нехило.

– Папа тебя убьет. Он тебя просто *убьет*, – говорит.

Только я не слушал. Я про совсем другую фигню думал – совсем долбанутую.

– Знаешь, кем бы я хотел быть? – спрашиваю. – Знаешь, кем? В смысле, если б, нафиг, у меня выбор был?

– Кем? И хватит ругаться.

– Знаешь такую песню – «Если кто ловил кого-то сквозь густую рожь»? Мне бы...

– Там «Если кто-то *звал* кого-то сквозь густую рожь»! – Фиби такая говорит. – Это стих такой. Роберта Бёрнса.

– Я *знаю*, что это стих Роберта Бёрнса.

Хотя она права была. Там и *впрямь* «Если кто-то звал кого-то сквозь густую рожь». Хотя тогда я этого не знал.

– А я думал: «Если кто ловил кого-то», – говорю. – В общем, у меня перед глазами только эти малявки – играют себе во что-то на таком здоровенном поле с рожью и всяко-разно. Тыщи малявок, а рядом никого – больших никого, в смысле, – только я один. И я стою на краю какого-то долбанутого обрыва. И мне чего надо – мне надо ловить всех, чтобы вдруг с обрыва не навернулись: в смысле, они же носятся там и не смотрят, куда бегут, а я должен выскакивать откуда-то и их *ловить*. И больше весь день я б ничего не делал. Был бы ловцом на этом хлебном поле и всяко-разно. Я знаю, что это долбануться, только больше я б ничем не хотел быть. Я

знаю, что долбануться.

Фиби такая долго ничего не говорила. А потом открыла рот и говорит только:

– Папа тебя точно убьет.

– Да и надристать, если убьет, – говорю. Потом встал с кровати, потому что мне чего захотелось – мне в жилу вдруг стало позвонить этому парню, который у меня английский вел в Элктон-Хиллз, мистеру Антолини. Он теперь живет в Нью-Йорке. Элктон-Хиллз бросил. Теперь ведет английский в Университете Нью-Йорка.

– Мне позвонить надо, – говорю. – Я сейчас вернусь. Не засыпай. – Я не хотел, чтоб она засыпала, пока я в гостинной. Понятно, что не заснет, но я все равно сказал, чтоб уж наверняка.

Я пошел к двери, а Фиби такая тут говорит:

– Холден! – и я развернулся.

Она сидела на кровати. Такая симпатная.

– А я рыгать учусь у этой девочки, Филлис Маргулис, – говорит. – Слушай.

Я послушал и *чего-то* услышал, но как-то не очень.

– Молодец, – говорю. Потом зашел в гостиную и набрал этого своего препода, мистера Антолини.

По телефону я не сильно рассусоливал – боялся, штрики

напрыгнут прямо посредине. Но не напрыгнули. Мистер Антолини нормальный такой ответил. Говорит, я могу сразу к нему приехать, если хочу. Я, наверно, их с женой разбудил, потому что как-то неслабо долго они к телефону подходили. Первым делом он меня спросил, что случилось, а я говорю: ничего. Только сказал, что все завалил в Пенси. Ну и что тут такого – ему-то можно. Он говорит:

– Боже праведный, – когда я ему изложил. Неслабое у него чувство юмора и всяко-разно. Сказал, чтоб я сразу к нему ехал, если мне в струю.

Он у меня, наверно, лучший препод был, этот мистер Антолини. Ничего так молодой парняга, ненамного старше моего брательника Д. Б., и его подначивать можно было так, чтоб и уважения к нему не потерять. Это он в конце концов подобрал того пацана, который из окна выпрыгнул, я вам рассказывал, Джеймза Касла. Этот мистер Антолини пульс ему пощупал и всяко-разно, а потом снял пальто с себя и накрыл, и нес Джеймза Касла до самого лазарета. И ему надристать даже было, что у него все пальто в крови будет.

Когда я вернулся в комнату Д. Б., Фиби такая радио включила. Передавали танцевальную музыку. Только Фиби тихо включила, чтоб горничная не услышала. Вы б ее видели. Сидит такая прямо посередке кровати, на одеяле, ноги сложила, как эти йоги. Музыку слушает. Сдохнуть можно.

– Давай, – говорю. – Хочешь потанцевать? – Я ее танцевать научил и всяко-разно, когда она совсем еще карапуз бы-

ла. Очень неслабо танцует. Я в смысле, что немного чему ее научил. А так она сама в основном училась. По-настоящему же никого научить танцевать нельзя.

– Ты в ботинках, – говорит.

– Я сниму. Давай.

Так она, считай, с кровати прыгнула, подождала, когда я ботинки сниму, а потом мы с ней сколько-то еще танцевали. Она по-честному танцует неслабо. Не в струю те, кто с малявками танцует, потому что смотрится это по большей части жуть. В смысле, где-нибудь в ресторане, и видишь, как старикан какой-нибудь выводит свою малявку на пятак. Они обычно ей платье нечаянно всегда сзади наверх поддерживают, а малявка же ни *шиша* танцевать не умеет и жуть как смотрится, но на людях я так все равно никогда не делаю ни с Фиби, никак. Мы только дома дурака валяем. С ней-то все по-другому, потому что танцевать она *умеет*. Идет за тобой по-всякому. В смысле, если держишь ее, как не знаю что, близко, чтоб наплевать, что ноги у тебя сильно длиннее. Она от тебя не отлипает ни шиша. Можно ногой за ногу заступать, подныривать фофански, даже иногда чутка джиттербажить, а она не отлипает. Даже *танго* можно, ёксель-моксель.

Мы четыре номера где-то станцевали. В перерывах от нее одна умора, как не знаю что. Позиции не меняет. Даже ни разговаривает, ничего. Стоим такие в позиции, ждем, пока оркестр снова не заиграет. Сдохнуть можно. Ни смеяться, ничего тоже нельзя.

В общем, мы номера четыре станцевали, а потом я выключил радио. Фиби такая снова в постель запрыгнула и залезла под одеяло.

– У меня лучше получается, правда? – спрашивает.

– Еще как, – говорю. Я снова сел к ней на кровать. Как бы запыхался. Слишком, нахер, много курю, дышалки никакой. А она вообще почти не запыхалась.

– Потрогай мне лоб, – говорит вдруг ни с того ни с сего.

– Зачем?

– *Потрогай*. Один разок всего.

Я потрогал. Только ничего не нащупал.

– Есть температура? – спрашивает.

– Нет. А должна быть?

– Да. Я ее нагоняю. Потрогай еще.

Я опять потрогал и все равно ничего не почувствовал, но говорю:

– Похоже, растет. – Не хотелось, чтоб у нее комплекс, нафиг, неполноценности был.

Она кивнула.

– Я через градусник ее могу нагнать.

– *Градусник*. Кто сказал?

– Мне Элис Холмборг показала. Садись по-турецки и не дышишь, и думаешь про что-нибудь очень-очень горячее. Про батарею или еще что-нибудь. А потом весь лоб у тебя такой жаркий становится, что можно руку обжечь кому-нибудь.

Я чуть не сдох. Отдернул руку у нее ото лба, словно это жуть как опасно.

– Спасибо, что предупредила, – говорю.

– Ой, тебе я б не обожгла. Я б остановилась, когда...
Тишиии! – И она быстро, как не знаю что, подскочила на кровати.

Напугала меня, как не знаю что.

– Чего такое? – спрашиваю.

– Дверь, – говорит громким таким шепотом. – Это они!

Я мигом вскочил, подбежал и погасил лампу над столом. Потом затер бычок о ботинок и сунул в карман. Разогнал воздух немного, чтоб дымом не воняло, – ёксель-моксель, на фига я только тут курил? Потом схватил ботинки, нырнул в чулан и закрыл дверь. Ух, сердце у меня колотилось, как гад.

Слышу, в комнату штруня зашла.

– Фиби? – говорит. – Ну-ка прекрати. Я видела свет, барышня.

– Привет! – Это Фиби уже такая. – Я заснуть не могла. Хорошо повеселились?

– Изумительно, – говорит штруня, только видно, что не по-честному. Она никогда не радуется, если из дому выходит. – Ты почему не спишь, можно осведомиться? Тебе тепло?

– Тепло. Просто заснуть не могла.

– Фиби, ты здесь курила? Правду мне, пожалуйста, барышня.

– Чего? – говорит такая Фиби.

– Ты меня слышала.

– Всего одну зажгла и на секундочку. Я только *разик* пыхнула. А потом в окно выбросила.

– Но *зачем*, можно осведомиться?

– Заснуть не могла.

– Мне это не нравится, Фиби. Мне это совсем не нравится, – говорит штруня. – Тебе дать еще одеяло?

– Нет, спасибо. Спок-ночи! – Фиби такая говорит. От штруни избавиться хочет поскорее, сразу видать.

– Как кино? – спрашивает та.

– Отлично. Только вот мама Элис. Она все кино через меня перегибалась и спрашивала, гриппует Элис или нет. А домой мы ехали на такси.

– Дай мне пощупать лоб.

– Я ничем не заразилась. У нее ничего не было. Это все ее мама.

– Ну что ж. Теперь спи. Как поужинала?

– Паршиво, – говорит Фиби.

– Ты слышала, что сказал твой отец об этом слове. Ну что в ужине было паршивого? Очень милая баранья отбивная. Я аж на Лексингтон-авеню ходила за...

– Отбивная нормальная, просто Шарлин все время на меня *дышит*, когда ставит на стол. На еду дышит, на всяко-разное. На все *дышит*.

– Ну что ж. Спи теперь. Поцелуй мамочку. Ты помоли-

лась?

– В ванной. Спок-ночи!

– Спокойной ночи. И сейчас же засыпай. У меня голова раскалывается, – говорит штруня. У нее ничего так себе часто голова раскалывается. По-честному.

– Выпей аспирина, – Фиби такая говорит. – Холден дома в среду будет, да?

– Насколько я знаю. Укрывайся давай. До конца укрывайся.

Я услышал, как штруня вышла и закрыла за собой дверь. Пару минут подождал. Потом вышел из чулана. И тут же вlepился в эту Фиби, потому что там такая темень, а она вылезла из постели и двинулась меня встречать.

– Больно? – спрашиваю. Теперь шептаться нужно было, потому что оба они уже дома. – Надо мослами шевелить, – говорю. Нащупал в темноте кровать, сел на край и стал надевать ботинки. Меня вполне так себе колотило. Куда деваться.

– *Сейчас* не ходи, – шепчет Фиби. – погоди, пускай заснут!

– Нет. Надо. Сейчас лучше всего, – говорю. – Она будет в ванной, а папа новости включит или чего-нибудь. Лучше сейчас. – Фиг шнурки завяжешь, так меня колотило. Штрики меня, само собой, ни *убьют*, ничего, если дома поймают, только будет сильно не в струю и всяко-разно. – Ты, нафиг, где вообще? – говорю этой Фиби. Такая темень, что ни шиша ее не видать.

– Тут. – Она прямо рядом со мной стояла. Я ее даже не

видел.

– У меня, нафиг, чемоданы на вокзале, – говорю. – Слышь. У тебя гроши есть, Фиб? Я, считай, банкрот.

– Только рождественские. На подарки и прочее. Я вообще ничего еще не покупала.

– А. – Не в жилак мне было у нее рождественские гроши забирать.

– Тебе надо? – спрашивает.

– Я не хочу у тебя рождественские гроши забирать.

– Я могу *сколько-то* тебе одолжить, – говорит. Потом слышу – она возле стола Д. Б., просто мильон ящиков открывает и внутри шарит. Тьма такая в комнате, хоть глаз выколи. – А если ты уедешь, ты меня в спектакле не увидишь, – говорит. И голос у нее так чудно звучал при этом.

– Увижу. Я никуда не поеду до спектакля. Думаешь, мне в жилу такое пропускать? – говорю. – Я вот чего сделаю – я, наверно, проживу пока у мистера Антолини, может, до вторника до вечера. А потом приеду домой. Если получится, я тебе позвоню.

– На, – говорит такая Фиби. Она мне грошей пыталась дать, только руки моей не нашла.

– Где?

Она вложила гроши мне в руку.

– Эй, да мне столько не надо, – говорю. – Ты мне два зеленых дай, и все. Кроме шуток – на. – Я попробовал ей вернуть, только она брать не захотела.

– Бери все. Потом отдашь. Принесешь на спектакль.

– Сколько тут, ёксель-моксель?

– Восемь долларов восемьдесят пять центов. *Шестьдесят* пять центов. Я немножко потратила.

И тут вдруг я ни с того ни с сего заревел. Куда тут денешься. Я *так* заревел, только чтоб меня никто не услышал, но заревел. Фиби такая вся перепугалась, когда я начал, подошла, хотела, чтоб я перестал, а как тут, нафиг, *сразу* перестанешь. Я еще сидел у нее на кровати, когда начал, и Фиби этой рукой своей меня обхватила за шею, а я ее, но все равно еще долго не мог перестать. Думал, до смерти задохнусь или как-то. Ух как эта Фиби из-за меня, нахер, перепугалась. Окно открыто, нафиг, и как-то, я чувствую, – она вся дрожит и всяко-разно, потому что на ней одна пижама. Я попробовал снова ее уложить, а она не хочет. В конце концов я перестал. Только все равно точняк долго это было. Потом я дозастегнул куртейку и всяко-разно. Сказал Фиби, что выйду на связь. Она говорит: я могу и с ней в кровати спать, если хочу, но я сказал, что нет, мне лучше отвалить, меня мистер Антолини ждет и всяко-разно. Потом вытащил из кармана охотничий кепарь и ей отдал. Ей такие долбанутые в жилу. Она брать не хотела, только я заставил. Спорнем, она в нем и спать легла. Ей такие шапки точняк в струю. Потом я ей еще раз сказал, что звякну, если получится, а потом отвалил.

Из дома выбираться было, нахер, в сто раз легче почему-то. Во-первых, мне уже было надристать, поймают меня

или нет. По-честному. Я прикинул, что поймают так поймают. Хотя бы поймали, что ли, в каком-то смысле.

До самого низу я спустился пешком, на лифте не поехал. По задней лестнице. Чуть шею себе не своротил об десять где-то миллионов мусорных ведер, но выбрался нормально. Лифтер меня даже не видал. Наверно, до сих пор думает, что я сижу у Дикстайнов.

24

У мистера и миссис Антолини была такая сильно шикарная квартира на Саттон-плейс, где в гостиную надо спускаться по двум ступенькам, там бар и всяко-разно. Я там нормально так бывал, потому что когда бросил Элктон-Хиллз, мистер Антолини вполне себе часто к нам домой на ужин приходил – узнать, как у меня дела. Он тогда не был женат. А потом когда женился, я, бывало, ничего так часто с ним и миссис Антолини в теннис играл в Теннисном клубе Уэст-Сайда, в Форест-Хиллз на Лонг-Айленде. Миссис Антолини сама оттуда. Вся в грошах купается. Она лет на шестьдесят старше мистера Антолини, но они вроде вполне себе ладили. Во-первых, они оба сильно интели, особенно мистер Антолини, только он больше остряк, чем интель, если с ним общаться, вроде Д. Б. Миссис Антолини – та больше по серьезу. У нее с астмой фигово. Оба они читали рассказы Д. Б. – и миссис Антолини тоже, – и когда Д. Б. поехал в Голливуд,

мистер Антолини ему позвонил и говорит: не ездите. А Д. Б. все равно поехал. Мистер Антолини сказал, что тем, кто пишет, как Д. Б., в Голливуде нечего делать. Точняк то же, что и я говорил, слово в слово.

Я б до их дома и пешком дошел, потому что не в струю мне было тратить Фибины рождественские гроши, чего ради, только мне так чудно́ стало, когда я наружу вышел. Вроде как башка закружилась. Поэтому я взял мотор. Не в жилу, но взял. Мотор там, нахер, фиг *найдешь* еще.

Когда я в звонок позвонил, этот мистер Антолини дверь мне сразу открывает – после того то есть, как лифтер наконец меня *довез* дотуда, гад. Выглядывает в халате и шлепанцах, а в руке – вискач с содовой. Такой себе хитровывернутый типус, да и киряет он неслабо.

– Холден, мо-мальчик! – говорит. – Боже праведный, да он еще на двадцать дюймов подрост. Прекрасно, что зашел.

– Вы как, мистер Антолини? Как миссис Антолини?

– Мы оба просто отпад. Давай-ка сюда куртку. – Снял с меня куртку и повесил. – Я рассчитывал увидеть у тебя на руках новорожденного. Некуда податься. Снег на ресницах. – Иногда он вполне себе остряк. Повернулся и орет в кухню: – Лиллиан! Как там у нас с кофе? – Лиллиан – это миссис Антолини так зовут.

– Все готово! – орет она в ответ. – Это Холден? Привет, Холден!

– Здрасьте, миссис Антолини!

Там у них всегда орать надо. Потому что оба никогда в одной комнате одновременно не сидят. Умора такая.

– Садись, Холден, – говорит мистер Антолини. Сразу видать, он уже слегка под градусом. В комнате такой вид, точно у них тут балёха только что была. Везде стаканы, тарелки с орешками. – Прошу простить за антураж помещения, – говорит. – Мы принимали друзей миссис Антолини из города Бизон, Южная Дакота... Те еще бизоны вообще-то.

Я посмеялся, а миссис Антолини заорала мне чего-то из кухни, только я не расслышал.

– Что она сказала? – спрашиваю у мистера Антолини.

– Говорит, чтоб ты на нее не смотрел, когда выйдет. Она только что из люльки. Закуривай. Ты же теперь куришь?

– Спасибо, – говорю. Взял сигу из шкатулки, что он мне протянул. – Иногда. Я умеренный курильщик.

– Кто спорит, – говорит. И дал мне прикурить от такой здоровой зажигалки со стола. – Ну. Вы с Пенси больше не связаны узами, – говорит. Он всегда так излагает. Иногда сильно меня веселит, иногда нет. У него с этим как бы *самую*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.